

Василиса Яровая

МОРЕ
ПОМНИТ ДОЛГИ

Василиса Яровая

Море помнит долги

«Тайниковский»

2026

Яровая В.

Море помнит долги / В. Яровая — «Тайниковский», 2026

В Кер-Ис-Море обещания не бросают на ветер. Здесь каждую клятву скрепляют магическим янтарём, а за нарушение расплачиваются не деньгами, а собственной плотью, годами жизни или даже именем. Семнадцатилетняя Анаик Сальве — свидетельница. Она видит невидимые нити обетов и знает главное правило своей гильдии: никогда не вмешиваться в чужие судьбы. Но однажды ей поручают заверить брак наследников двух враждующих родов. От этого союза зависит судьба целого города, ведь приближается Прилив Долга — время, когда море приходит забрать то, что ему задолжали. И всё идёт не по плану. Жених произносит клятву, но магия молчит. Анаик понимает: если она скажет правду, юношу ждёт участь его отца, которого три года назад отправили на смерть по её собственным показаниям. У неё есть всего тридцать семь дней, чтобы разобраться в чужой лжи, раскрыть тайну древнего договора и решить, чего стоит её собственное слово. Потому что иногда самое страшное — не нарушить обещание. А исполнить его.

Содержание

Глава первая. Долг до сельди	6
Глава вторая. Мутная нить	13
Глава третья. Архив нитей	19
Глава четвёртая. Договор без янтаря	26
Глава пятая. Дом над отмелями	32
Глава шестая. Гуэрнская дамба	38
Глава седьмая. Очистка	44
Глава восьмая. Шторм	50
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Василиса Яровая

Море помнит долги

Глава первая. Долг до сельди

Отлив в тот день пришёлся на рассвет, и Нижний причал вонял так, как умеет вонять только дно, которое море на шесть часов отдало людям. Сваи стояли голые, в бурой бахrome водорослей. Между ними, по колено в иле, бродили мальчишки с вёдрами и выковыривали мидий. Лодки лежали на боку, как уснувшие собаки.

Я пришла за полсклянки до назначенного и успела замёрзнуть. Белые перчатки не греют, их шьют не для тепла. Шерстяной плащ гильдии отсырел ещё на лестнице, а ветер с залива пах водорослями и тухлой рыбой одновременно, и к этому сочетанию я так и не привыкла за девять лет.

Сетевщик Ален Ле Дрен явился первым. Он был из тех, кто носит на шее цепочку с серебряным кругом напоказ, чтобы с ним заранее разговаривали иначе. Следом, подталкивая друг друга, пришли двое Гоазиу: старший, Пейр, и его сын, которому на вид было лет четырнадцать.

— Свидетельница, — Ле Дрен поклонился ровно настолько, насколько полагалось, и ни на волос ниже. — Холодно сегодня. Начнём, чтобы вас не держать?

— Начнём, когда я прочту условия.

Он протянул мне лист. Я встала так, чтобы свет падал из-за плеча. Шесть кругов серебром на починку сетей и новую мачту. Возврат до конца сельдевого хода. Залог — правая рука должника.

Я подняла глаза на Пейра. Руки у него были такие, какие бывают у людей, сорок лет выбирающих мокрые сети: красные, растрескавшиеся, с пальцами толщиной в черенок ножа.

— Мастер Гоазиу, вы понимаете, что значит этот залог?

— Понимаю, — буркнул Пейр.

— Если до последнего дня хода вы не вернёте шесть кругов, рука застынет. Болеть не будет: сначала пожелтеют ногти, потом пальцы станут твёрдыми и прозрачными, как смола на сосновой коре, а через несколько дней вся кисть превратится в янтарь. Ни один лекарь в Кер-Ис-Море её не спасёт.

— Свидетельница, он знает, — Ле Дрен переступил с ноги на ногу. — Мы всё обговорили.

— Я спрашиваю не вас.

Пейр посмотрел на сына. Мальчишка стоял, сунув кулаки под мышки, и разглядывал лодку отца, у которой из борта выдран был целый пояс досок.

— Без мачты я в этом году не выйду, — Пейр говорил медленно, словно пробовал каждое слово на крепость. — Не выйду — не будет улова. А без улова всё одно без руки, только без руки и без денег. Давайте, свидетельница.

Спорить с этим было не моим делом. Я сняла с пояса кожаный кошель, распустила шнурок и вытряхнула на ладонь две бусины: мутно-жёлтые, неровные, с пузырьками внутри, выловленные сборщиками после осенних штормов и выдержанные под молитвами сорок дней в мастерской Янтарного двора. В озябшей руке они казались тяжелее, чем были, будто знали, зачем их достали.

— Возьмите, каждый. Зажмите в кулаке и говорите, поднеся руку к губам.

Ле Дрен взял брезгливо, кончиками пальцев. Пейр — всей горстью, как берут хлеб. Я подождала, пока у обоих на лицах проступит одно и то же выражение: так замирает любой человек, когда бусина в кулаке вдруг теплеет, как живая, и от пальцев начинает пахнуть сосновой смолой, которой на причале взяться неоткуда.

— Говорите.

Первым начал заимодавец, потом должник, и оба держались слов листа. Я слушала не голос, а то, что возникало между ними. На словах «до конца сельдевого хода» у левого запястья Пейра, там, где под кожей бьётся жила, показалась золотистая точка. Когда прозвучало «моя правая рука», от неё потянулась нить — тонкая, мутно-золотая, как струйка мёда в холодной воде, — и нашла руку Ле Дрена. Натянулась. Затвердела. Теперь она была толщиной с конский волос и светилась изнутри, но видела её на всём причале только я.

Кровь у меня в висках ответила ей покалыванием. Так бывало всегда: каждая заверенная нить оставляет в свидетельнице крупинку янтаря. Мать-настоятельница говорила, что мы платим собой за чужую верность. Тогда, в восемь лет, это звучало красиво.

Я протянула ладонь, и оба вернули бусины. Внутри каждой, если смотреть моими глазами, застыла теперь тонкая золотая жилка — печать обета, которая переживёт и заимодавца, и должника.

— Я вижу и помню, — я сомкнула пальцы. — Обет лёг. Печати и табличку с условиями внесут в архив нитей сегодня до вечерней воды. Мастер Ле Дрен, три круга за заверение.

Он отсчитал их, не глядя мне в лицо, и ушёл быстро, как уходят люди, получившие то, за чем пришли. Пейр остался. Он трогал левое запястье, хотя нить не ощущается кожей.

— Её видно? — не утерпел мальчишка.

— Мне одной.

— А какая она?

— Золотая, — я затянула шнурок кошель. — Скучная. Ничего красивого в ней нет, поверь.

Пейр положил сыну руку на затылок и повёл прочь, к перевёрнутой лодке. Я смотрела им вслед дольше, чем требовало моё дело. Шесть кругов. Мой брат Эрван был должен Кермарекам девять, и залогом там стояли годы его работы на янтарных копанках, а не рука. Отец в своё время считал это милостью.

* * *

Второе заверение было назначено у Рыбного спуска, у самого края причала, где сваи уходят под Внешнюю дамбу. Я пошла туда по доскам, придерживая подол, и на середине пути услышала крик.

Кричал не человек — чайки. Они поднялись с воды всей стаей, разом, как поднимаются, когда кто-то швыряет в них камнем. Потом закричал и человек:

— Тудаль! Тудаль, сукин ты сын, стой!

По мелководью вдоль дамбы уходила плоскодонка. Отлив был на исходе, в канале между сваями уже прибывала вода, и лодочник отталкивался шестом, торопясь вывести лодку за створ, пока её не прижало к камням. На корме, сгорбившись, сидел человек в коричневом капюшоне. А по причалу за ними бежал толстый мужчина в фартуке рыбака и размахивал руками.

Тудалья Морвана я знала. Весной, в первый месяц после посвящения, я заверяла его долг тому самому рыбаку: тридцать кругов на лавку, пропитую потом до последней доски, и условие, над которым я тогда думала дольше, чем над суммой. «Не покину Кер-Ис-Мора, пока не верну долг». Залогом были два пальца левой руки.

Город в обетах кончается не там, где дома. Его границу провела первая свидетельница три века назад, и проходит она по Внешней дамбе. Плоскодонке оставалось до её створа шагов сорок.

Я побежала. В юбке гильдии бегать неудобно, по мокрым доскам — тем более. Нить я увидела раньше, чем добежала до края: она тянулась от лодки к причалу, к рыбаку, и уже не была ни мутной, ни тусклой. Она раскалялась. Обет понимал, что его вот-вот нарушат, и наливался светом, как железо в горне.

— Лодочник! — мне пришлось набрать воздуха дважды. — Поворачивай назад! Именем Белого Янтая!

Лодочник обернулся. Шест замер в воде. Тудаль вскочил, и плоскодонка закачалась.

— Не слушай её! Плачу вдвое, греби!

— Ты не успеешь его вывезти, — я встала на самый край настила, чтобы меня видели. — Если ваша корма пройдёт створ, у него рука начнёт желтеть ещё в лодке. Ты хочешь везти его через залив, пока он будет кричать?

Это было почти правдой. Залог в два пальца не убивает и не кричит. Но лодочник смотрел не на меня, а на мои руки, и белые перчатки свидетельницы на этом причале значили больше, чем двойная плата. Он выругался, упёр шест в камень и повёл лодку назад.

Тудаль сел. Он больше не пытался ни спорить, ни прыгать. Когда плоскодонка ткнулась носом в сваю у моих ног, он поднял ко мне левую руку. На ногтях безымянного пальца и мизинца проступили жёлтые пятна, неровные, как потёки смолы на коре.

— Только кончики, — мой голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовала. — Нить тебя предупредила, не забрала. Сойдёт через неделю, если до неё ты не попробуешь ещё раз.

— Свидетельница, — выдохнул рыбак, наконец догнав нас и держась за бок. — Благоволите вас прилив, свидетельница. Я уж думал, всё, ищи его потом по островам...

— Я не на вашей стороне, мастер Бодик. Я служу обету.

Он закивал, будто я сказала что-то очень умное. Тудаль смотрел на свои ногти.

— Лучше бы ты дала мне уйти, — голос у него был совершенно трезвый, и это пугало больше, чем если бы он был пьян. — Пальцы — что пальцы. Тут я и с пальцами сдохну.

Я не нашла, что ему возразить, поэтому ответила по уставу:

— Обет можно распустить по согласию обеих сторон. Поговорите с мастером Бодиком, может быть, он примет другие условия.

Бодик фыркнул так, что стало ясно, на какие условия он пойдёт. Я отвернулась и пошла к Рыбному спуску, где меня ждали. Только на полпути я заметила, что у меня дрожат руки, и сжала их в кулаки, чтобы перчатки не выдали.

У Рыбного спуска меня ждала хозяйка коптильни Жаннетта Ле Кам с двумя девчонками-сиротами, которых она нанимала на зиму. Обет найма самый простой из всех: работа за кров, хлеб и два зерна в неделю, залог с обеих сторон — месяц жизни. Девчонки держались за руки и сжимали бусины по очереди, будто боялись, что одной не хватит. Нити легли сразу, ровные и тонкие, какие бывают только у людей, которым нечего скрывать. Жаннетта заплатила три круга, не торгуясь, и сунула мне в руку кусок копчёной макрели, завернутый в лист щавеля. Я съела её на ходу, поднимаясь по Отмельной лестнице, и только тогда согрелась.

В уставе гильдии есть правило, которое мы учим раньше, чем учимся различать нити: свидетельница заверяет обет и не вмешивается в его исполнение. Мы не судьи и не стража. Мы — глаза. Я только что вернула лодку именем Белого Янтая, и половина причала это видела.

* * *

Янтарный двор стоит на Верхних холмах, выше всех домов Кер-Ис-Мора, кроме маяка. Говорят, первая свидетельница выбрала это место, чтобы с крыши видеть весь город и все его обещания разом. Я думаю, ей просто нужен был свет.

Мастерская занимает весь верхний ярус под стеклянной крышей: длинные столы, жаровни, корыта с морской водой. Янтарь, который сборщики приносят после штормов, — старухи на причалах до сих пор зовут его слезами Мор-Иса, — там моют, отбирают, сверлят и полируют, и над каждой бусиной сорок дней читают слова, которых нет ни в одной книге города. Работа нудная, вонючая, потому что войлок пропитывают бараньим жиром, и бесконечная. Послушниц ставят на неё в наказание, свидетельниц — по очереди.

Мадлон Ферре была в мастерской не в наказание, а по очереди, но выглядела словно её приговорили. Она сидела над корытом с ворохом мокрых бусин, как над чьей-то могилой.

— Ты знаешь, что у меня третий день чешется нос? — пожаловалась она вместо приветствия. — Третий день. А чесать нельзя, потому что перчатки в жиру, а снимать их запрещено, потому что сестра Бенуаза видит всё. Я схожу с ума, Анаик. Почеси мне нос.

Я почесала ей нос. Мадлон закрыла глаза с выражением, какое бывает у святых на фресках.

— Ты добрая, — она открыла один глаз. — И бледная. Что стряслось на причале?

— Откуда ты знаешь, что на причале что-то стряслось?

— Ниоткуда. Но ты пришла в мастерскую, хотя тебе сегодня не сюда, и стоишь, как будто тебя сейчас вызовут.

— Меня вызовут.

— За что?

Я рассказала. Мадлон не перебивала и не переставала тереть бусину о войлок: она вообще умела слушать руками. На словах «именем Белого Янтаря» рука у неё остановилась.

— Ты дура, — с искренней нежностью объявила Мадлон. — Ты добрая дура. Тудаль Морван пропьёт и пальцы, и руку, и вообще всё, что у него есть, а тебя за это посадят к корытам до самого Прилива. Будем сидеть вместе. Я тебе буду чесать нос.

— Если бы он прошёл створ...

— Он бы лишился двух пальцев. Сам. По своему обету, — войлок снова зашуршал. — Анаик, мы видим, мы не держим. Я тебе это всю прошлую зиму твердила, когда ты ещё ходила в послушницах.

— Я помню.

— Ну вот.

С лестницы донеслись шаги. Сестра Бенуаза, у которой седина начиналась уже от бровей, остановилась в дверях и оглядела меня так, как смотрят на лужу, в которую сейчас придётся наступить.

— Свидетельница Сальве. Мать-настоятельница ждёт вас, — бросила она и ушла вниз, не дожидаясь ответа.

Мадлон за моей спиной шепнула что-то очень непочтительное про скорость, с которой по Янтарному двору расходятся новости. Я спустилась следом за Бенуазой, не оборачиваясь.

* * *

У матери-настоятельницы Органс Ле Беррук было три комнаты: келья, молельня и рабочая, и в последней всегда топили, даже летом. Я узнала почему, только когда сама стала свидетельницей. Янтарь в крови тянет из тела тепло и делает суставы тугими. К сорока годам большинство из нас мёрзнет у любого огня, а Органс было уже под пятьдесят.

Она сидела у очага в кресле, укрыв колени пледом, и разбирала таблички. Волосы у неё были не седые даже, а белые, как воск, и коротко остриженные. Кожа на руках пожелтела и стала полупрозрачной, а пальцы сгибались медленно, будто через силу. Она не подняла головы, когда я вошла, и я стояла у двери, пока она не отложила табличку.

— Садись, — Органс указала на табурет по другую сторону очага. — Ты замёрзла.

— Я ничего, матушка.

— Ты замёрзла, у тебя губы синие. Садись, — повторила она тем голосом, которым когда-то велела мне не плакать в первую ночь.

Я села. Огонь пах торфом и сосновой стружкой. На каминной полке стояли три янтарные печати в серебряных оправках — самые древние в гильдии после тех, что оставила Аэлиз. Я видела их сотню раз и всё равно каждый раз смотрела.

— Тудаль Морван, — Органс не спрашивала. — Мастер Бодик уже прислал мальчишку с благодарностями. Он в восторге. Он собирается рассказать о тебе всему Рыбному рынку.

— Я знаю, что нарушила устав.

— Ты знаешь, какую строку?

— Свидетельница не вмешивается в исполнение обета. Второй свиток, седьмая строка.

— И почему она там написана?

Мне было семнадцать, белые перчатки я носила с весны, и рядом с ней я снова становилась девочкой в слишком длинной рубаше послушницы, которой задают вопрос, на который она должна знать ответ.

— Потому что свидетельницам должны верить обе стороны, — я посмотрела на огонь. — Если мы начнём решать, чей обет исполнить, а чей нарушить, нам перестанут доверять. Тогда обеты станут оружием тех, кому мы помогаем.

— Сегодня ты помогла рыбаку против должника. Завтра кто-нибудь придёт к тебе и попросит помочь Кермарекам в споре с Ардуэнами. Или наоборот. И ты скажешь, что не вмешиваешься, а тебе напомнят про Рыбный спуск.

Я молчала. Она была права, и я это знала, ещё когда бежала по мокрым доскам.

Ортанс подалась вперёд, и плед сполз с её коленей. Я подняла его и снова укрыла её ноги. Она позволила, коротко коснувшись моей руки сухими пальцами.

— А теперь скажи мне, почему ты это сделала.

— Он бы не вернулся, — я подбирала слова, потому что сама до этой минуты не отвечала себе на этот вопрос. — Он бы сошёл на островах и начал жить заново без двух пальцев. Это было бы честно, по обету. Но лодочник ничего не обещал, а Тудаль заплатил ему вдвое, и если бы беглец начал застывать посреди залива, его выбросили бы за борт. Я видела, как тот держит шест.

Мать-настоятельница долго смотрела на меня. Потом засмеялась — тихо, без звука, одними плечами, и закашлялась. Кашляла она долго. Я подала ей чашку с водой со стола, она отпила, вытерла губы платком, и на белом полотне осталось желтоватое пятно, липкое, как смола.

— Ты всегда видишь больше нити, — Ортанс сложила платок. — Это хорошо, Анаик, и это плохо, и ты пока сама не понимаешь, где одно переходит в другое. Неделя в мастерской.

— Да, матушка.

— Это не всё, — она взяла с колен табличку и протянула мне. — Через три дня ты едешь к Маяку Аэлиз.

Табличка была свежая, ещё влажная по краю, где писец прижимал печать. Я прочитала её дважды. Обручение наследников. Леонор, дочь Гильдаса Кермарека, Хранителя Дамб. Корантен, сын покойного Иво Ардуэна. Обручальный обет приносится перед Приливом Долга и скрепляется браком в день полной воды. Свидетельница — Анаик Сальве, первая ступень.

Я положила табличку на колени, будто она была горячей.

— Матушка, я не могу.

— Почему не можешь?

— Вы знаете почему. Три года назад, ещё ученицей, я свидетельствовала на суде над Иво Ардуэном. Это я увидела, что его нить порвана. По моим показаниям его...

Я не договорила. У нас не принято называть это прямо, как не говорят громко о море.

— По твоим показаниям его вернули морю, — Ортанс ничуть не смутилась. — Да. И поэтому Гильдас Кермарек просил тебя лично. Он хочет, чтобы обручение его дочери заверяла свидетельница, которую Ардуэны никогда не смогут подкупить, задобрить или запугать. Тебя ненавидят в их доме, и все об этом знают. Значит, твоему слову поверят.

— Мне не поверит жених.

— Жениху верить не нужно, — отрезала Ортанс. — Ему нужно взять янтарь и сказать слова.

— Матушка, мне семнадцать. Я полгода в перчатках и ни разу не заверяла ничего дороже лавки.

— Совет Дамб это тоже заметил. Гильдас настоял, а с Хранителем Дамб за сорок дней до Прилива никто спорить не станет.

Я смотрела на табличку. Кровь у меня в висках опять покалывала, хотя никакой нити рядом не было, — бывает и так, когда устаёшь.

— И ещё одно, — Ортанс откинулась в кресле. — Леонор Кермарек тоже просила тебя. Она написала мне сама, своей рукой. Вы ведь были молочными сёстрами?

— До восьми лет.

— Значит, у тебя в этом деле есть кто-то, кому ты желаешь добра. Это полезно, — она закрыла глаза, словно разговор её утомил. — Прилив Долга бывает раз в сорок девять лет, Анаик. Из нынешних сестёр его видела только я, и то девочкой. Если обручение пройдёт чисто, а брак ляжет в полную воду, город будет стоять ещё полвека. Если нет...

— Если нет, море придёт за долгом.

— Так написано на маяке, — мать-настоятельница не открыла глаз. — Я бы предпочла этого не проверять. Иди. К корытам сядешь после Маяка.

Я встала, поклонилась и пошла к двери. На пороге она окликнула меня:

— И Анаик. Брат твой, Эрван, сколько ему ещё на копанках?

— Три года по обету. Если не выкупить.

— Девять кругов, кажется, — протянула она.

— Девять, матушка.

— Я помню, — голос у неё был совсем сонный. — Сделай это чисто, и мы поговорим о девяти кругах.

* * *

К вечерней воде я внесла в архив печати Пейра Гоазиу и Тудаля. На табличке беглеца писец уже вывел белыми чернилами «предупреждение у створа». Потом я долго стояла на галерее Янтарного двора, откуда видно весь залив.

Прилив поднимался. Вода затягивала причалы и сваи, лодки вставали с боков и начинали качаться, мальчишки с вёдрами давно разошлись. По правому берегу, где лежат янтарные отмели Кермарек, тянулись ровные ряды копанок — ям, в которых промывают донный песок; в сумерках вода в них блестела, как расколота черепица. По левому темнели верфи Ардуэнов: три стапеля, и на двух не стояло ни одного корпуса. Между берегами, на скале у входа в залив, поднимался маяк, и над ним уже зажгли огонь.

А под маяком, у самого подножия, лежал Камень Возврата. Его заливало каждый прилив, и сейчас вода прошла по нему длинной пенной полосой.

Три года назад я стояла на том камне в рубаше ученицы, рядом с матерью-настоятельницей: кто дал показания, обязан присутствовать до конца. Мне было четырнадцать, белых перчаток у меня ещё не было, но на суде именно я первой разглядела нить Иво Ардуэна — вернее, то, что от неё осталось: два тусклых мёртвых обрывка, один у его запястья, другой у руки Гильдаса Кермарека, которому он клялся починить Гуэрнскую дамбу к осенним штормам. Дамба прорвалась в первый же шторм. Сорок человек на нижних копанках не успели подняться.

В тот вечер его вели под руки двое стражников, хотя он мог идти сам. Крупный, седой, он ступал тяжело: ноги у него до колен уже пожелтели и почти не гнулись, потому что нарушенный обет начинается с того, что ближе к земле.

За стражниками шёл сын Иво. Тогда я впервые увидела Корантена Ардуэна близко. Ему было шестнадцать. Он не плакал и ни о чём не просил, и на отца, когда того привязывали к железному кольцу, глядел недолго. Он смотрел на меня. Всё время, пока поднималась вода, его глаза не отпускали меня, и в его лице не было ни ярости, ни горя, а было что-то, чего я тогда не умела назвать. Внимание. Будто он запоминал меня, чтобы потом не ошибиться.

Через три дня я должна была вложить ему в ладонь янтарь и увидеть, как от его запястья протянется нить к руке Леонор.

Я стянула перчатку, палец за пальцем, и посмотрела на свою ладонь. На ней ничего не было. Нити свидетельницы не видны даже ей самой, это первое, чему нас учат.

Над заливом ударил колокол маяка: полная вода.

Глава вторая. Мутная нить

Две бусины для обручения мать-настоятельница выбрала сама. Накануне вечером она вызвала меня в рабочую комнату, долго перебирала шкатулку на коленях, подносила янтарь к огню и откладывала, пока не нашла пару, которая её устроила: тёмно-медовую, почти без пузырьков, и светлую, с крошечной трещинкой у отверстия.

— Трещина ничего не значит, — она вложила их мне в ладонь и сжала мои пальцы своими, жёсткими и холодными. — Это старая бусина. Её выдерживали ещё при моей наставнице. Старый янтарь держит крепче.

— Кому какую давать?

— Тёмную — Кермарекам. Они любят, когда видно, что им дали лучшее.

Я не поняла тогда, шутит ли она.

Теперь бусины лежали в кошеле у меня на поясе, отдельно от остальных, в мешочке из некрашеного льна, и я трогала его через юбку так часто, что Мадлон, застёгивая мне пуговицы на манжетах, в конце концов хлопнула меня по руке.

— Перестань. Ты их протрёшь насквозь.

— Я проверяю, что они на месте.

— Они на месте. Ты проверяла, когда мы вставали, потом за умыванием и ещё на лестнице, — она затянула последнюю пуговицу и отступила на шаг, словно хозяйка, которая оценивает пирог перед гостями. — Ты бледная, но это даже хорошо. Свидетельница не должна быть румяной. Румяным не верят.

— Кто это сказал?

— Я. Только что.

Мадлон была на год старше и на голову ниже меня, круглолицая, с вечно обветренными губами и привычкой говорить чепуху ровно тогда, когда мне это было нужнее всего. Я не знала, понимает ли она это сама.

— Мне сегодня надо будет смотреть на него вблизи, — у меня получилось тише, чем я рассчитывала.

Мадлон перестала поправлять мне воротник.

— На Ардуэна?

— Он стоял у Камня. Он меня помнит.

— Анаик, — она взяла меня за оба запястья, прямо поверх перчаток. — Ты дашь ему бусину, он скажет слова, ты увидишь нить. Ты делала это сорок раз с весны, и с людьми, которые тебя ненавидели, тоже. Помнишь вдову, которой ты заверяла раздел дома с деверем? Она плюнула тебе на подол.

— Она плюнула деверю. Я стояла рядом.

— Значит, она тебя не ненавидела, а просто плохо целилась, — Мадлон отпустила меня. — Иди. Лодка ждёт. Расскажешь, какое на Леонор Кермарек будет платье, я поспорила с Бенуазой на две бусины полировки.

* * *

До маяка плыть было меньше склянки. Гильдия держит для таких поездок свою лодку, узкую, выкрашенную в белое, с двумя гребцами, которые за все годы службы, кажется, не сказали ни одного лишнего слова. Со мной ехала писарша — послушница Ивонна, тринадцатилетняя, с ящиком для табличек на коленях. Ей впервые доверили запись при наследниках, и она так старалась не показать волнения, что за всю дорогу ни разу не моргнула.

Утро выдалось ясное и злое. Ветер шёл с моря, гнал по заливу короткие крутые волны, лодку подбрасывало, и брызги летели через борт. Я сидела на корме, держала на коленях

кошель, а перед нами вырастала скала маяка — чёрная, в белых потёках птичьего помёта, с лестницей, вырубленной прямо в камне.

У подножия, на плоской площадке, которую сейчас обтекала вода, лежал Камень Возврата. С лодки было видно железное кольцо, вбитое в него. Ивонна посмотрела туда и быстро отвела глаза, а я заставила себя не отводить.

Лодки Кермареков и Ардуэнов уже ждали у причала, конечно, по разные его стороны. Синяя, большая, с резной волной на носу и шестью гребцами в одинаковых куртках была хозяйская, с правого берега. Серая была ардуэнской — без резьбы, просмоленная так густо, что в солнце блестела, как мокрая. Её явно строили не для красоты, а для дела, и я подумала, что лучше эту семью не описать.

Сто сорок три ступени до зала Аэлиз я пересчитала ещё ученицей, в первый свой подъём. Сегодня было не до счёта. На середине лестницы ветер стих, будто его выключили: скала прикрывала её от моря, и в этой внезапной тишине было слышно, как Ивонна пыхтит за моей спиной и как у меня в ушах стучит кровь.

Зал Аэлиз занимает основание башни. Он круглый, с низким сводом, и в нём всегда холодно. В стенах прорезаны узкие окна на четыре стороны света, а в середине пола вделан плоский янтарный круг шириной в два шага — тёмный, мутный, старый, с застывшими внутри пузырьками, похожими на рыбью икру. Говорят, на нём стояла Аэлиз, когда заключала обет с морем. На нём же приносят все обеты, которые касаются Прилива.

Смотритель маяка, старый Ланнек, встретил меня у входа. Он был сухой и сутулый, с бородой, жёлтой от трубочного дыма, и носил на шее ключ от фонарной, тяжёлый, как подкова.

— Свидетельница, — он заглянул мне за плечо, на Ивонну, и снова на меня. — Матушку Органс ждали.

— Матушка нездорова. Обручение заверяю я.

— Вот оно как, — он пожевал губами. — Ну, проходите. Там уже холодно с обеих сторон.

* * *

Кермареки стояли у восточного окна, Ардуэны — у западного. Между ними лежал янтарный круг, и никто не подходил к нему ближе чем на два шага, будто он был горячим.

Гильдаса Кермарека я помнила по суду. С тех пор он не изменился: широкий, тяжёлый, с короткой седеющей бородой и голосом, который заполнял любое помещение раньше, чем он открывал рот. На груди у него висела цепь Хранителя Дамб — витое серебро и семь янтарных звеньев, по одному на каждый дом Совета. За ним стояли двое родичей в синем и пожилая женщина, которую я не знала.

И Леонор.

Я не видела её девять лет, если не считать праздников, когда наследница Кермареков проезжала по Средней улице в открытой коляске, а я стояла в толпе послушниц. Тогда она была далеко. Сейчас — в десяти шагах, и я поняла, что совсем забыла, какая она. Высокая, выше меня, с тёмной косой, уложенной вокруг головы, в платье цвета мокрого сланца без единого украшения. На фоне отцовского серебра это выглядело как вызов. У неё было то же лицо, что у той девочки, с которой мы прятались от кормилицы в сарае с сетями, только теперь на нём ничего нельзя было прочесть.

Она встретилась со мной взглядом и чуть наклонила голову. Не как наследница свидетельнице. Как человек, который узнал другого и пока не решил, что с этим делать.

Мадлон проиграла две бусины: платье было не синим.

Я повернулась к западному окну.

Ардуэнов было трое. Девушка лет шестнадцати, загорелая до черноты, в мужской куртке и юбке, подоткнутой, как у рыбачки, — должно быть, Гвенола, сестра. Пожилой мужчина с одной рукой, в старом, но вычищенном камзоле. И Корантен.

Он стоял чуть впереди, опираясь плечом о стену у окна, и когда я вошла, не выпрямился. Он вырос. Три года назад он был тощим мальчишкой с отцовскими плечами, на которые ещё неросло ничего. Теперь плечи стали его собственными. Тёмные волосы, мокрые от брызг, были зачёсаны назад, на скуле белел старый шрам, а руки, сложенные на груди, оказались руками человека, который работает: широкие, обветренные, с коротко остриженными ногтями. На левом запястье у него был намотан тонкий шнур с узлами — мерный, какие носят мастера дамб.

Он посмотрел на меня, и я узнала этот взгляд раньше, чем успела к нему приготовиться. Тот самый. Внимательный.

— Свидетельница Сальве, — у него был низкий голос, чуть хриплый от ветра. — Выросла.

Это было сказано так ровно, что Гильдас уловил в этом только дерзость. А я услышала всё остальное.

— Мастер Ардуэн, — я ответила не ему, а залу, и пошла к янтарному кругу. — Прошу стороны подойти.

* * *

Устав велит начинать с условий, и я начала с них. Ивонна раскрыла ящик, поставила на колено табличку, обмакнула стило в белые чернила.

Обручальный обет короче долгового и длиннее обета найма. Жених и невеста обещают друг другу брак в день полной воды Прилива Долга, у Маяка Аэлиз, при свидетельнице гильдии. До того дня оба обязуются не вступать в иные брачные обеты. Залогом с каждой стороны служит имя рода: нарушивший обет больше не сможет его носить и потеряет всё, что за этим именем стоит. Земли, голос в Совете, герб на воротах. Для дома, у которого и так почти ничего не осталось, это было последнее.

Я прочла условия вслух, медленно, и спросила каждую сторону, понятны ли они.

— Нам всё понятно, — Гильдас ответил за дочь, не дожидаясь, пока она откроет рот.

— Я спрашиваю наследницу.

Короткая пауза. Где-то за спиной Гильдаса один из родичей переступил с ноги на ногу.

— Понятны, свидетельница, — Леонор смотрела мне прямо в лицо. — Благодарю, что спросили меня.

— Мастер Ардуэн?

— Понятны. Все до одного.

Он ответил тем тоном, каким сообщают, что вода мокрая. Я достала льняной мешочек.

Тёмная бусина легла в ладонь Леонор. Светлая, с трещинкой, — в руку Корантена. Я коснулась его руки краем перчатки, совсем легко, и он не убрал руку, но пальцы у него сомкнулись на янтаре быстрее, чем нужно, будто он хотел поскорее спрятать его от меня.

— Сожмите в кулаке. Поднесите к губам. Говорите.

Леонор начала первой. Голос у неё был чистый и ровный, она ни разу не сбилась и ни разу не повысила тон, даже на словах о залоге. Я смотрела на её левое запястье. На второй фразе там проступила золотистая точка — яркая, плотная, без мутности, какие бывают у людей, которые решились задолго до того, как пришли. Над её сжатым кулаком воздух дрогнул, и я почувствовала запах смолы. Бусина приняла её.

Тогда заговорил Корантен.

Он говорил так же твёрдо, как она, может быть, даже твёрже. Ни лишнего слова, ни пропущенного. Голос не дрогнул ни разу, рука у губ оставалась неподвижной. Если бы я закрыла глаза, я бы ему поверила — как и любой на моём месте.

Но я смотрела.

На его запястье ничего не появилось.

Я ждала. Иногда точка проступает поздно, у упрямых, у тех, кто внутри до последнего торгуется с собой. Я ждала третью фразу, четвёртую, слова о залоге. «Моё имя рода». Ничего. Под мерным шнуром была просто кожа, загорелая, с голубой жилкой. И запаха смолы от его кулака не было. Пахло только морем из окна.

А нить Леонор тем временем выросла. Она поднялась от её запястья, тонкая и золотая, и потянулась через янтарный круг туда, где должна была найти вторую руку. Я видела, как она дошла до Корантена. Как коснулась его запястья. Как скользнула по нему, будто по стеклу, не найдя, за что зацепиться. Отпрянула. Качнулась в воздухе, слепо, как росток, который тянется к свету, а света нет. И начала гаснуть — от кончика к основанию, медленно, по волоску.

Корантен договорил и опустил руку.

В зале было очень тихо. Ивонна держала стило над табличкой, готовая записать то, что я скажу. Гильдас ждал. Леонор ждала. Однорукий старик у западного окна ждал, и Гвенола рядом с ним ждала, и я впервые заметила, что девушка стоит, вцепившись в его рукав, так, что побелели пальцы.

А Корантен Ардуэн смотрел на меня, и в его лице не было ничего — ни страха, ни мольбы. Только то самое внимание. Будто он знал, что услышит, и хотел запомнить, каким голосом я это произнесу.

Он знал.

Мысль была такой ясной, что у меня похолодели ладони. Он знал, что нить не ляжет. Он пришёл сюда, взял бусину и произнёс слова, зная. Выходит, у него были на то причины, о которых мне не скажут. И сейчас всё зависело только от меня.

Есть три вещи, которые свидетельница может сказать после обета. Нас учат им в первый же год, вместе с буквами. «Вижу и помню» — обет лёг. «Не вижу» — обет не лёг, и тогда устав велит объяснить почему. Если человек произнёс слова как надо, а нити нет, ответов всего два: ложь в сердце или немота. Ложь бусина чувствует сразу и мутнеет, а янтарь у Корантена не помутнел. Значит, немота.

Скажи я «не вижу» — и через три дня, а может быть, и раньше, его поведут вниз по ста сорока трём ступеням. К кольцу. Тем же путём, которым вели его отца.

Скажи я «вижу и помню» — и я солгу при свидетелях на янтарном круге Аэлиз. А мой собственный обет, тот, что я дала при посвящении, говорит: не заверю того, чего не видела. Залогом в нём стоит моя жизнь. Я застыну раньше, чем лодка довезёт меня до города.

Есть ещё третья вещь, о которой вспоминают редко.

— Нить мутна.

Мой голос прозвучал в круглом зале громче, чем я хотела. Ивонна дёрнулась, и с кончика стила на табличку упала белая капля.

— Что? — Гильдас шагнул вперёд, к самому краю янтарного круга. — Что вы сказали?

— Нить мутна, мастер Кермарек, — я заставила себя не смотреть на Корантена. — Я вижу начало обета у наследницы. Вторую сторону я вижу плохо. Такое случается.

— С кем случается?

— Со свидетельницами. С нитями, — я сама удивлялась, насколько ровно звучит мой голос. — Второй свиток, двенадцатая строка: в год Прилива Долга море тянет нити, и обеты, данные в его тени, могут ложиться мутно. Мутная нить не заверяется и не отвергается. Она проверяется повторно перед исполнением обета той же свидетельницей.

Строка была настоящей. Я помнила её, потому что в двенадцать лет, когда меня засадили за устав в наказание за болтовню на молитве, я сделала в ней ошибку и начинала весь свиток заново. Ни разу за мою жизнь никто не применял её на деле. Но она была.

— Когда? — Гильдас понизил голос, и это было хуже, чем если бы он закричал. — Когда проверяется?

— В день Прилива, здесь, у Маяка, перед браком. Через тридцать семь дней.

— Тридцать семь дней, — он повернулся к западному окну. — Ардуэн. Что ты сделал?

— Взял янтарь и сказал слова, — Корантен даже не оттолкнулся от стены. — Как и ваша дочь. Спросите свидетельницу, если сомневаетесь в моих.

— Я сомневаюсь во всём, что касается вашего дома.

— Знаю. Это у вас давно.

Один из родичей Гильдаса положил руку на пояс, где висел короткий нож, и однорукий старик у западного окна сделал то же самое, только у него на поясе не было ничего. Я видела, как Гвенола по одному разжимает пальцы на его рукаве.

— Отец, подождите.

Леонор не повысила голоса. Она просто встала между Гильдасом и янтарным кругом, так, что ему пришлось бы её отодвинуть, чтобы пройти.

— Свидетельница сказала, что моя нить видна. И что по уставу это допустимо. Вы сами просили гильдию прислать именно её, — Леонор не обернулась ко мне, но я почувствовала, что каждое слово она говорит и для меня тоже. — Если вы сейчас оспорите её слово, вы пойдёте против собственного выбора. Весь город узнает об этом к вечерней воде. Вы этого хотите за тридцать семь дней до Прилива?

Гильдас долго смотрел на дочь. Потом на меня. Я выдержала, хотя мне очень хотелось посмотреть себе под ноги.

— Я напишу матери-настоятельнице, — он произнёс это тихо, почти ласково. — Сегодня же.

— Это ваше право, мастер Кермарек.

— Да. Моё.

Он отвернулся к окну. Родичи сомкнулись вокруг него. Леонор осталась стоять, где стояла, и, прежде чем вернуться к своим, посмотрела на меня ещё раз — долгим, оценивающим, совсем не детским взглядом, в котором я, кажется, впервые различила вопрос.

* * *

Бусины после обета свидетельница собирает сама. Это последнее действие заверения, и в нём нет ничего торжественного: протягиваешь руку, и тебе отдают янтарь.

Леонор вложила мне в ладонь свою, тёмно-медовую, ещё тёплую. Я поднесла её к свету из окна. Внутри застыла короткая золотая жилка — обрубок, начало нити без продолжения. Половина печати. Если её увидит другая свидетельница, она скажет то же, что сказала я: мутно. Для того, кто не знает, где искать, этого хватит.

Потом я подошла к Корантену.

Он не сразу разжал пальцы. Мы стояли близко, ближе, чем когда я подавала ему янтарь, и я видела, что у него на виске бьётся жилка, а вокруг глаз, тёмно-серых, как вода в пасмурный день, легли совсем не юношеские морщины от прищура. Ветер на дамбах, солнце, работа. От него пахло дёгтем и мокрой шерстью.

Потом он раскрыл ладонь.

Светлая бусина с трещинкой лежала на ней точно так же, как я её положила. Я взяла её. Она была холодной — не так, как стынет янтарь, который подержали и отпустили, а мертвенно, словно её только что вынули из воды. Внутри не было ничего. Ни жилки, ни обрывка, ни тени.

— Зачем ты это сделала? — он спросил одними губами, так тихо, что даже Ивонна в трёх шагах не могла услышать.

Я промолчала. Я опустила бусину в льняной мешочек, затянула шнурок и только тогда подняла на него глаза.

— Вашу печать я оставляю при себе до повторной проверки, мастер Ардуэн. Так велит устав. Мутные печати не сдаются в архив.

Это тоже было правдой. Мутные печати хранит свидетельница, которая их принимала, — в личной шкатулке, под своим замком. Кроме неё, никто не имеет права их открывать.

Он смотрел на меня очень долго. Потом медленно, словно проверяя, не обманывают ли его собственные пальцы, распустил узел на мерном шнуре и затянул его снова, на ладонь выше.

— Понимаю, — ответил он вслух, для всех. А тише, только для меня, добавил: — Нет. Не понимаю.

— Я тоже, — у меня вырвалось раньше, чем я успела себя остановить.

У выхода меня снова ждал Ланнек. Он стоял, привалившись к косяку, и вертел в пальцах незажжённую трубку.

— Пятьдесят два года я здесь, — смотрел он не на меня, а на янтарный круг у меня за спиной. — Видел прошлое обручение перед Приливом, мальчишкой ещё, и сотни обетов попроще. Мутных на этом круге не случилось ни разу.

— Значит, сегодня случилось впервые, мастер Ланнек.

— Выходит, что так, — он сунул трубку в карман. — Только вы, свидетельница, поосторожнее с этим словом. Море его слышит.

Я хотела спросить, о чём он, но Ивонна уже топталась на лестнице, а снизу кричали гребцы, что пора отваливать, пока ветер не переменился.

* * *

Обратно мы плыли против ветра, и гребцы налегали на вёсла, так что лодка шла рывками. Ивонна сидела, прижав к себе ящик с табличками, и косилась на меня всю дорогу. Наконец она не выдержала:

— Свидетельница, а мутная — это как?

— Это когда видно не всё.

— А так бывает? Я никогда не слышала.

— Теперь услышала, — я смотрела на воду. — Запиши всё, что я говорила, дословно и сдай табличку сестре Бенуазе. Больше никому.

— А матушке?

— Матушке я расскажу сама.

Ивонна прижала ящик крепче и опять уставилась на меня. Тринадцатилетние девочки прекрасно слышат, когда взрослые что-то недоговаривают, и совсем не умеют это скрывать.

Я обернулась.

На причальной площадке под маяком, у самой воды, стоял человек. Синяя лодка Керма-реков уже отошла и разворачивалась к правому берегу. Серая ардуэнская ещё стояла у причала, и на её корме сидела Гвенола, а однорукий старик отвязывал конец. Корантен стоял в стороне, у Камня Возврата. Вода уже подбиралась к его сапогам, и он не отступал. Отсюда невозможно было разобрать лица, но я знала, куда он смотрит.

Он мог бы отплыть сразу. Он мог бы сесть в лодку и уйти за Внешнюю дамбу, за створ, на острова, где никто не знает его имени и никому нет дела до нитей. Его ничто не держало — в этом и был весь ужас. Ни один обет на свете не мог его удержать.

Он стоял у Камня, на котором утопили его отца, и смотрел вслед лодке, в которой сидела я.

Я сунула руку в кошель и нащупала через лён светлую бусину. Даже сквозь перчатку и ткань она была холодной.

Тридцать семь дней.

Глава третья. Архив нитей

Письмо Гильдаса Кермарека оказалось в Янтарном дворе раньше меня. Его привёз верховой, пока наша лодка ещё боролась с ветром у Внешней дамбы, и когда я поднялась по Отмельной лестнице, сестра Бенуаза уже ждала у ворот, сложив руки в рукавах.

— Табличку, будь добра, — она протянула ладонь Ивонне, не глядя на меня.

Ивонна отдала ящик и посмотрела на меня через плечо Бенуазы словно её уводили на казнь вместо меня.

— А вы, свидетельница, к матушке. Она у себя. Не в рабочей, в келье.

— Ей хуже?

Бенуаза ответила не сразу. Она вообще никогда не отвечала сразу, и за девять лет я так и не поняла, обдумывает она слова или просто даёт собеседнику помучиться.

— Ей холодно, — сестра наконец повернулась к лестнице. — Не задерживайте её долго.

* * *

Келья матери-настоятельницы была меньше моей. Узкая кровать, сундук, полка с тремя книгами, жаровня у изголовья, которую кто-то натопил так, что от углей тянуло сухим жаром, как от летней дороги. Органс лежала под двумя одеялами и пледом, и поверх всего этого — под рукой, на груди — белел развёрнутый лист.

— Садись на сундук, — она не стала приподниматься. — Табурет унесли, мне здесь нечем дышать.

Я села. Сундук был низкий, и мне пришлось смотреть на неё снизу вверх.

— Хранитель Дамб пишет, что ты оскорбила его дом, — Органс приподняла лист двумя пальцами и снова опустила. — Что ты пожалела Ардуэнов, потому что совесть тебя гложет за отца. Что ты слишком молода и тебя надо заменить. И что, если гильдия этого не сделает, Совет может спросить, нужны ли ему свидетельницы, которые не умеют разглядеть нить на янтаре Аэлиз. Последнее, впрочем, он пишет иначе. Он пишет очень вежливо.

— Да, матушка.

— Что ты видела?

Я ждала этого вопроса всю дорогу. Я перебирала ответы на лестнице, у ворот, в коридоре. И всё равно, когда он прозвучал, у меня пересохло во рту.

Солгать матери-настоятельнице нельзя. Это не обет, это хуже: это всё, на чём стоит гильдия. Если свидетельница лжёт старшей, она больше не свидетельница, даже если её нить на это не отзовётся.

— Я видела начало нити у наследницы Кермарек, — я смотрела на жаровню. — Ясное и чистое. Нить пошла через круг ко второй стороне.

— Говори дальше.

— Она не нашла, за что зацепиться.

Органс молчала. Угли в жаровне тихо щёлкали.

— Не нашла, — она повторила это медленно, словно пробовала слово на вес. — И ты решила, что это море.

— Двенадцатая строка говорит, что в год Прилива...

— Я знаю, что говорит двенадцатая строка. Я её не применяла ни разу, и моя наставница тоже. Её писали, когда Аэлиз ещё помнили живые, — она наконец повернула ко мне голову. — Тот, кто первым за сто лет вспоминает двенадцатую строку, обычно знает больше, чем говорит.

Я молчала. Это был единственный честный ответ, который у меня оставался.

— Покажи бусины, — Органс протянула руку поверх одеяла. Пальцы у неё были жёлтые, почти прозрачные на кончиках, и чуть подрагивали.

Я отвязала льняной мешочек и вытряхнула ей на ладонь тёмную бусину Леонор. Она поднесла её к глазам, к самому огню, повертела. Я видела, как она находит обрубок жилки внутри, как следит за ним до того места, где он обрывается.

— Половина, — она произнесла это без удивления. — А вторая?

— Мутные печати остаются у свидетельницы, которая их приняла. Под её замком до повторной проверки.

— Я мать-настоятельница. Я могу их потребовать.

— Можете, матушка.

Это было всё, что я сумела сказать. Если она потребует, я отдам. Тогда она возьмёт в руки холодный янтарь и поймёт всё сама, без меня, и тогда я ни в чём не буду виновата, кроме того, что тянула время. Почему-то от этой мысли стало не легче, а гаже.

Органс разглядывала меня до тех пор, пока я не почувствовала, что щёки у меня горят — от углей, конечно, от чего же ещё. Потом она вернула мне бусину Леонор.

— Храни обе, — Органс закрыла глаза. — Это твои печати. Ты их приняла, тебе за них и отвечать.

— Да, матушка.

— Хранитель Дамб получит ответ, что гильдия не меняет свидетельниц по просьбе тех, кому не по душе их слово. Это правда, и это ему не понравится. — Уголки её губ дёрнулись, но улыбки не получилось. — А теперь слушай внимательно, Анаик. В день Прилива ты встанешь на тот же круг. Ты дашь ему тот же янтарь. И если нить снова окажется пустой, двенадцатая строка тебе больше не поможет. Ты скажешь «не вижу». При Совете, при обоих домах и перед морем. Ты понимаешь, что будет после этого?

— Понимаю, матушка.

— Нет, — Органс не открыла глаз. — Пока не понимаешь. Но у тебя есть тридцать семь дней, чтобы понять. Иди.

У двери я обернулась. Она лежала неподвижно, только губы шевелились — то ли молитва, то ли счёт.

* * *

В тот вечер я не пошла на ужин. Сказала Бенуазе, что болит голова, и это была не совсем ложь: у меня в висках с самого маяка стучало, будто туда забили по гвоздю.

Моя келья в восточном крыле: окно на залив, кровать, стол, крючок для плаща и маленький сундук с замком, ключ от которого я ношу на шнурке под рубашкой. Такой есть у каждой свидетельницы. В нём мы храним мутные печати, личные записи и то немного, что у нас есть своего. У меня там лежали письмо от брата, написанное два года назад кривыми буквами, отцовский нож для разметки янтара и деревянная рыбка, которую вырезала мне кормилица, когда мне было пять.

Теперь там лежали ещё две бусины. Я не стала их убирать. Я сидела на кровати и держала светлую, с трещинкой, на ладони, без перчатки.

Янтарь, который пролежал на холоде, тёплый на ощупь, это знают все дети на побережье. Поэтому его и любят: он не обжигает зимой. Эта бусина была холодной, как речной камень. Я сжала её в кулаке и держала, пока не заныли пальцы. Она так и не согрелась.

Как может человек не держать слова?

Не в том смысле, в каком не держат его пьяницы и должники, — те нарушают, и янтарь их за это наказывает. А совсем. Так, чтобы клятва скатывалась с него, как вода с промасленной кожи. Чтобы он мог пообещать что угодно любому встречному и уйти, и ничто в мире не потянуло бы его назад.

Нам рассказывали о немых на третьем году учёбы. Сестра Бенуаза вела этот урок, и я помню его почти дословно, потому что в тот день шёл град и мы сидели при свечах. Немые рождаются раз в два-три поколения. Их узнают по первому обету: бусина остаётся холодной.

Немой страшен не тем, что лжёт, — лгут все. Он опасен тем, что на его лжи нельзя построить ничего. Ни торговли, ни брака, ни присяги. Город, где живёт немой, похож на дамбу с червоточиной: снаружи камень, а внутри вода уже ищет дорогу.

Поэтому их возвращают морю. Устав говорит, что это не казнь. Море не наказывает, оно забирает своё.

Корантен Ардуэн стоял у Камня Возврата и смотрел мне вслед.

В дверь постучали, и я едва не уронила бусину.

— Это я, — Мадлон просунула голову в щель, не дожидаясь ответа. — Бенуаза говорит, у тебя голова болит. У меня есть отвар от головы. И ещё сыр, я стащила с кухни. Отвар гадкий, сыр хороший. Можешь начать с сыра.

Я успела сжать кулак. Мадлон вошла, поставила на стол кружку и положила рядом завернутый в тряпицу кусок, а потом уселась на край кровати, как садятся люди, которые не собираются скоро уходить.

— Ну? — она подалась ко мне. — Какое платье?

— Серое, представь себе.

— Серое? — На лице Мадлон отразилось искреннее горе. — Наследница Кермареков, на обручении перед Приливом — в сером?

— Цвета мокрого сланца. Без украшений.

— Значит, я должна Бенуазе две бусины, — Мадлон помолчала. — Хотя нет. Бенуаза ставила на синее. Мы обе проиграли. Значит, никто никому ничего не должен, и это лучшая новость за неделю, — она посмотрела на мой кулак. — А что у тебя там?

— Ничего особенного.

— Анаик, я же вижу.

— Печать. Мутная. Мне велели хранить.

Мадлон смотрела на меня, и я видела, как она решает, спросить или нет. Мы дружили с тех пор, как я пришла в гильдию, и она знала, что у меня бывает лицо, при котором лучше не спрашивать.

— Ладно, — она встала. — Выпей отвар. Он правда гадкий, но помогает. А если захочешь рассказать — я в соседней келье и сплю очень чутко. То есть нет, я сплю как убитая, но для тебя проснусь.

Когда за ней закрылась дверь, я разжала пальцы. На ладони остался красный след от бусины, и в середине — белое пятнышко, будто я сжимала лёд.

* * *

Я не собиралась идти в архив. Я сказала себе это трижды: допивая отвар, который и вправду оказался гадким, задувая свечу и потом, в темноте, слушая, как прилив бьётся о скалу под окном. А потом колокол маяка ударил малую воду, полночь, и я поняла, что встаю, одеваюсь и ищу на ощупь ключ от архива.

Свидетельницы носят ключи от архива нитей с первого дня в перчатках. Ходить туда ночью нельзя, но запрет держится не на замке, а на привычке. Мне ни разу не приходило в голову его обойти. Сегодня я уже нарушила одну строку устава у Рыбного спуска и выбрала другую у янтарного круга. Третья, кажется, ничего не меняла.

Мне нужно было увидеть печать Иво Ардуэна. Три года я её не открывала, хотя знала, где она лежит.

Архив нитей занимает подвалы Янтарного двора — три длинных сводчатых зала, вырубленных прямо в скале. Там всегда одинаково холодно, зимой и летом, и пахнет смолой и сухим камнем. Вдоль стен от пола до свода тянутся полки, на полках стоят ящики, в ящиках, в гнёздах из войлока, лежат печати. Каждая — обет. Долги, наймы, браки, присяги, разделы наследства. Три века обещаний Кер-Ис-Мора, разложенные по годам.

Старые печати тускнеют. Жилка в бусине, которой двести лет, похожа на волос, застрявший в мёде, и разглядеть её может не всякая свидетельница. Но она держится, пока жив хоть один из давших обет, а после смерти обоих гаснет ровно, от краёв к середине, и тогда бусину переносят в дальний зал, к таким же погасшим. Сестра Бенуаза зовёт третий зал кладбищем. Послушницы зовут его кладовкой и бегают туда секретничать, потому что ночница туда не заглядывает.

Я спустилась без фонаря. Лестницу я знала наизусть, а внизу всегда горит одна лампа у двери, для порядка. Её свет доставал до начала первого зала, дальше начиналась темнота, в которой тускло поблёскивали ряды ящиков, будто там притаились тысячи маленьких глаз.

Я взяла лампу и пошла вдоль полок. Год триста двенадцатый, одиннадцатый, десятый. Шаги отдавались под сводами так гулко, что я пошла медленнее, ставя ногу с носка. Девятый. Здесь, на третьей полке снизу, справа, стоял ящик судебных печатей. Я знала это место, потому что три года назад сама его надписала, потому что ученицам поручают такую работу, и потому что мать-настоятельница решила, что мне полезно.

Я присела перед полкой и поставила лампу на пол.

И услышала, что в соседнем зале кто-то есть.

Звук был совсем тихий: шорох войлока, скрип ящика, который выдвигают из гнезда. Так скрипят наши ящики, если тянуть их неровно. Потом — тишина. Потом снова шорох, чуть дальше.

Ночница? Сестра, которая обходит двор после полуночи, никогда не спускается в архив. Да и зачем ей шарить по полкам в темноте?

Я задула лампу.

Темнота упала на меня целиком, как мокрое одеяло. Несколько ударов сердца я не видела вообще ничего. Потом глаза привыкли, и я различила в соседнем зале слабый, прикрытый свет. Кто-то пришёл с фонарём, у которого задвинута шторка, и пустил из щели узкий луч. Луч скользил по ящикам. Останавливался. Двигался дальше.

Он искал год триста двенадцатый.

Я поднялась, держась за полку, и пошла на свет. Не знаю, что было у меня в голове. Скорее всего, ничего: иначе я побежала бы наверх и подняла весь двор. Но ноги несли меня в соседний зал, а в кармане юбки лежали, тяжелее обычного, две бусины в льняном мешочке.

Он стоял ко мне спиной у полки текущего года, высокий, в тёмной куртке, и одной рукой держал фонарь, а другой перебирал ящики. Я узнала его раньше, чем он обернулся, — по одним плечам.

— Её там нет, — шёпот у меня получился хриплым.

Он развернулся так быстро, что луч фонаря ударил мне прямо в глаза. Я зажмурилась. А когда открыла их, он был уже рядом, и его пальцы сомкнулись на моём запястье — не больно, но так, что вырваться я бы не смогла.

— Тихо, — Корантен не повысил голоса. — Не кричи.

— Я и не кричу.

— Ты собиралась.

— Если бы собиралась, уже закричала бы.

Он не отпустил меня. Он стоял так близко, что я чувствовала запах дёгтя и мокрой шерсти, и ещё чего-то сырого, подвального, будто он долго шёл по туннелю. С волос у него капало.

— Как ты сюда попал?

— Через сток, — он ответил словно это было очевидно. — Под вашей мастерской идёт водосток к обрыву. Мой дед его перекладывал. Решётку там никто не менял сорок лет.

— Это архив гильдии. Если тебя здесь найдут...

— Меня найдут в любом случае. Через тридцать семь дней или раньше, если ты решишь, что так будет вернее, — он наконец отпустил запястье, но не отошёл. — Где она?

— Кто — она?

— Моя бусина. Ты сказала, что оставишь её у себя. Я решил, что «у себя» значит здесь, под твоим именем. Я думал, если её не станет, тебе нечего будет показать.

— И что тогда?

— Тогда твоё слово против моего, — он чуть повёл плечом. — Я немой, свидетельница, но не дурак. Слово гильдии весит больше слова Ардуэна, это я знаю. Но против одной девочки, которую Кермарек сам выбрал и которая уже раз ошиблась...

Он не договорил. Не из жалости: её в нём не было ни капли. Просто ему не нужно было договаривать.

— Я не ошиблась, — это вырвалось у меня раньше, чем я подумала.

— Конечно, не ошиблась.

— Я видела его нить. Она была порвана.

— Я знаю, что ты видела. Ты сказала это на суде трижды, под янтарём. Три раза одно и то же. — Голос у него стал совсем тихим. — Тебе было четырнадцать. Ты стояла на табурете, чтобы тебя было видно из-за стола.

Табурета в моей памяти не было. Был только зал суда и лицо Иво, которое не менялось, пока я говорила. А табурет — нет.

— Её здесь нет, — я повторила, потому что не знала, что ещё сказать. — Мутные печати не сдают в архив. Они у свидетельницы. В её сундуке, под её замком.

Он смотрел на меня. Свет из щели фонаря падал вниз, на пол, и лицо его было почти в темноте, только скула со шрамом белела.

— Тогда она у тебя.

— Да, у меня.

— Прямо сейчас?

Я могла соврать. Я могла сказать, что она наверху, в келье, и тогда ему пришлось бы лезть в восточное крыло, где спят двадцать свидетельниц, и он бы, конечно, не полез. Вместо этого я сунула руку в карман и вытащила льняной мешочек.

Он перестал дышать. Я это слышала.

— Отдай её мне.

— Не отдам.

— Анаик...

Он впервые назвал меня по имени, и от этого почему-то стало хуже, чем от «свидетельницы».

— Если печать пропадёт, — я говорила медленно, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Я должна буду заявить об утрате. Матери-настоятельнице и Совету. Будет дознание. Спросят, какая это была печать и почему мутная. Её станут искать. Гильдас Кермарек первым делом спросит, кому выгодно, чтобы её не нашли.

— Ему выгодно.

— Нет. Тебе. И все это поймут.

Он промолчал. Он не сводил глаз с мешочка у меня в руке, как приговорённый с петли.

— Зачем? — Корантен повторил вопрос, который задал мне на маяке, только теперь в нём не было удивления. Была злость. — Зачем ты это сделала? Ты могла сказать «не вижу». Кермарек был бы счастлив, гильдия была бы чиста, а меня бы уже не было. Ты бы закончила то, что начала три года назад. Чего ты ждёшь?

— Не знаю.

— Врёшь, и сама это знаешь.

— Не вру, — я сжала мешочек так, что бусины стукнулись друг о друга. — Я не знаю, что было передо мной сегодня. Зато знаю, что видела три года назад. А ещё я знаю, что ты тогда

смотрел на меня так же, как сегодня. И что ты знал, что нить не ляжет, и всё равно пришёл. Я не понимаю зачем. А я не люблю того, в чём не могу разобраться.

— Свидетельница, — он почти улыбнулся. — Тебе мало того, что ты видишь. Тебе надо ещё понимать.

— Да. Надо.

— А тебе? — я сама не ожидала, что спрошу. — Тебе что нужно?

Он помолчал. Луч из-под шторы дрогнул: должно быть, он переложил фонарь в другую руку.

— Чтобы мой отец не остался тем, кем его сделали. И чтобы Гвенола не потеряла за три года отца и брата одним и тем же способом. Больше ничего.

Сверху, со стороны лестницы, донёсся звук. Тихий, мерный: шаги в мягких туфлях и позвякивание ключей на кольце. Ночница. Она шла по коридору над нами, и если дверь архива окажется незапертой — а я её не заперла, — она спустится посмотреть.

Корантен задвинул шторку фонаря. Нас накрыла темнота.

— Сюда, быстро, — его рука нашла мой локоть, и он потянул меня в проход между полками, узкий, в один шаг, где ящики стояли так тесно, что пахли не смолой даже, а пылью. Мы оказались зажаты между двумя стенами из печатей, лицом к лицу. Я чувствовала, как поднимается и опускается его грудь. Моя щека почти касалась его мокрой куртки.

Дверь наверху скрипнула. По ступеням пополз жёлтый свет.

Ночница остановилась на третьей ступени. Я слышала её дыхание — старое, с присвистом. Сестра Фаншон, ей было за шестьдесят, она ходила по двору ночами, потому что всё равно не спала. Свет лампы лизнул пол первого зала, полки, мою брошенную, задутую лампу у ящика девятого года.

— Кто здесь? — голос Фаншон был не испуганным, а ворчливым.

Ни я, ни Корантен не шевелились. Его пальцы всё ещё лежали на моём локте, и я чувствовала через ткань, как они застыли — хуже, чем бусина в мешочке.

Фаншон постояла. Пробормотала что-то про девчонок, которые забывают лампы где попало. Спустилась ещё на две ступени, подняла лампу повыше, посветила вдоль первого зала — и, не увидев ничего, пошла обратно. Дверь скрипнула снова. Ключ провернулся в замке.

Она нас заперла.

Я выдохнула так шумно, что Корантен вздрогнул.

— У меня есть ключ, — успела я прошептать, прежде чем он что-нибудь сказал. — Изнутри тоже открывается.

— А мне не нужно, — в его голосе послышалось что-то похожее на смех. — Я пришёл не через дверь.

Он отпустил мой локоть и отступил из прохода. Шторка фонаря чуть приоткрылась, и луч снова лёг на пол — узкий, жёлтый, между нашими ногами.

— Завтра, — Корантен смотрел не на меня, а на мешочек, который я всё ещё сжимала. — На верфях. После вечерней воды, у третьего стапеля. Того, где ничего нет. Приходи одна.

— А если не приду?

— Тогда я пойму, что ты решила, — он помолчал. — И уйду за створ, пока не поздно. Ты ведь знаешь, что меня ничто не держит.

— Знаю, мастер Ардуэн.

— Вот и хорошо. Значит, хоть что-то обо мне ты знаешь точно.

Он ушёл к дальней стене третьего зала. Я слышала, как он что-то отодвигает, как скрипит железо, как в лицо мне вдруг потянуло сыростью и морем из водостока. Потом звук стих, и холодный ток воздуха тоже.

Я осталась одна в темноте с мешочком в кулаке.

Когда я снова зажгла свою лампу от фитиля у двери и вернулась к полке девятого года, руки у меня тряслись так, что я дважды уронила ключ. Ящик судебных печатей стоял на месте. Я выдвинула его, нашла гнездо с надписью, которую сама же вывела три года назад ученическим почерком, — «Иво Ардуэн, Гуэрнская дамба, нарушение» — и долго смотрела на бусину в войлоке. Обычная, медового цвета, размером с горошину.

Я так и не взяла её в руки. Я задвинула ящик обратно, заперла за собой дверь и поднялась к себе. До рассвета я лежала, глядя в потолок, и держала под подушкой холодный янтарь, который не грелся.

Глава четвёртая. Договор без янтаря

Левый берег начинается сразу за паромной пристанью, и первым встречает запах. Правый отдаёт мокрым песком и деньгами: там копанки, лавки скупщиков, конторы, где взвешивают янтарь на весах с медными чашками. На левом пахнет дёгтем, пенькой и стружкой, а ещё рыбьим клеем, который варят прямо во дворах в чёрных котлах. Здесь строят лодки, вяют канаты, конопатят борта, и почти всё это делают для Ардуэнов или делали раньше, когда у этого дома водились деньги.

Паромщик, сухой старик в кожаном фартуке, взял с меня зерно и не стал спрашивать, что свидетельнице нужно на этом берегу в сумерках. Он только посмотрел на мои перчатки, потом на воду и вздохнул словно видел меня насквозь и ничего хорошего там не нашёл.

Весь день я провела как обычно. Заверила утром два найма в Среднем городе и один раздел огорода между братьями, которые всю церемонию не смотрели друг на друга, а потом, получив печати, вдруг обнялись. Отнесла таблички в архив, днём, при свете, как положено. Ящик девятого года стоял на своём месте. Я прошла мимо, не останавливаясь.

Мадлон за обедом пыталась заговорить со мной о погоде, о Бенуазе, о новой послушнице, которая боится темноты, и каждый раз я отвечала невпопад. На четвёртый раз она просто подвинула мне свою лепёшку и больше ничего не спрашивала.

Перед тем как идти к парому, я всё-таки спустилась в архив. Днём туда можно: свидетельницы берут старые записи, когда заверяют наследства, и никто не спрашивает, что именно ты ищешь. Я попросила у сестры-архивщицы суд девятого года, и она, не поднимая глаз от своих счётов, указала на полку.

Записи суда над Иво Ардуэном занимали двадцать две таблички. Половину из них вела я — ученическим почерком, с кляксами, которые мать-настоятельница велела не стирать, потому что запись суда не исправляют. Я читала свои собственные слова и не узнавала их. «Нить разорвана. Концы тусклые. Разрыв полный». Три раза, на трёх табличках, как и сказал Корантен. На табурете или нет — этого там не было.

Остальное писал старший писарь Совета. Гильдас Кермарек показал: обет о починке дамбы дан весной, к осенним штормам, при свидетельнице Органс Ле Беррук, залог — жизнь. Мастер Ардуэн отвечал, что дамба починена в срок, работы закончены и он сам проверял каждую сваю. Трое копальщиков с нижних копанок, которые успели подняться, говорили одно: вода пришла ночью, сразу, стеной, без обычного шума перед прорывом. И короткая запись в самом конце, которую я тогда, наверное, не заметила, потому что её писали уже после приговора: «Старшина работ Лоэ Кервен в суд не явился. Утонул при прорыве. Вдова его, Нолвенн Кервен, допрошена быть не может по причине болезни».

Я переписала имя вдовы на клочок бумаги и спрятала в перчатку.

Тридцать шесть дней.

* * *

Ардуэнские верфи тянутся вдоль берега на полторы сотни шагов. Три стапеля — три наклонных деревянных ложа, по которым спускают на воду готовые корпуса, — уходят в залив, как пальцы руки, опущенной в воду. На первом стояла недостроенная рыбацья лодка с белыми, ещё не просмолёнными рёбрами. Второй был пуст, но чисто подметён, и на нём лежали сложенные доски. Третий выглядел будто на нём уже давно ничего не строили и не собирались: подпорки посерели от ветра и брызг, между досками пробила трава, а у самой воды висел оборванный канат, который никто не потрудился убрать.

Корантен сидел на краю третьего стапеля, свесив ноги над водой, и сращивал два конца толстого троса. Пальцы у него двигались быстро и ровно, без единого лишнего движения, будто думали отдельно от него. Рядом лежали деревянная свайка и нож.

Он не поднял головы, когда я подошла, хотя доски под моими ногами скрипели на всю верфь.

— Ты пришла одна? — спросил он у троса.

— Одна, как ты просил.

— Паромщик видел.

— Паромщик видит всех. Он брал у меня зерно.

— Он видит всех, — согласился Корантен. — И говорит только моей сестре. Это хорошо, — он затянул последнюю прядь, проверил стык на разрыв, отложил трос и только тогда повернулся. — Садись. Тут сухо.

Я не села. Я стояла в трёх шагах от него, в перчатках и плаще гильдии, на ардуэнской верфи, в сумерках, и понимала, что если меня здесь кто-нибудь увидит, объяснять придётся долго.

— Где твоя сестра?

— На лодке, у мыса. Если что-то случится, она будет здесь раньше, чем ты добежишь до парома, — он не угрожал, просто сообщал. — Она не знает, зачем ты пришла. Знает только, что придёшь.

— А ты знаешь?

— Догадываюсь, — он помолчал. — Ты принесла её?

Я достала из кармана льняной мешочек и вытряхнула на ладонь светлую бусину. На закате янтарь всегда кажется теплее, чем днём, — в нём собирается красный свет. Этот казался просто камнем.

Корантен смотрел на бусину, не протягивая руки.

— Можно мне её подержать?

Я отдала её. Он взял бусину двумя пальцами и поднёс к глазам, против заходящего солнца, так же, как это делала мать-настоятельница. Он долго вертел её, ища то, что, конечно, было бесполезно искать, и я вдруг поняла, что он никогда раньше этого не видел. Пустую печать. Свою.

— Внутри ничего нет, — он произнёс это тихо, словно не мне, а самому себе.

— Совсем ничего.

— А что должно быть?

— Жилка, — я не знала, зачем объясняю. — Тонкая, золотая. Как волосок, только светится. Начинается у одного края, у того, где касалась кожа, и уходит в глубину. У наследницы Кермарек она обрывается посередине.

— Значит, у Леонор есть половина.

— У Леонор есть половина.

Он вернул мне бусину. Пальцы у него, когда он коснулся моей ладони, были тёплые, в отличие от ночи в архиве, и пахли смолой от троса.

— Мне было двенадцать, — Корантен снова отвернулся к воде. — Мы с Ивом-младшим, сыном конопатчика, поспорили на ножик, что я переплыву залив до мыса. Ив сказал, что так не считается, если без бусины. Мы стащили две у старой сестры Эльвины. Она жила тут, на берегу, давно ушла из гильдии, полуслепая уже, но ещё заверяла для своих, задёшево. Мы попросили её, она засмеялась и согласилась. Ив сжал бусину, и у него она стала тёплой, я видел, он показывал. А моя нет.

Он говорил ровно, без пауз, словно читал опись груза.

— Эльвина долго держала мою руку у самого лица. Потом отпустила, ничего мне не объяснила, отослала нас домой. А вечером пришла к отцу. Я подслушивал за дверью. Она назвала ему, кто я. Объяснила, что по уставу должна донести. И что не станет, потому что ей семьдесят лет и она слишком стара, чтобы ещё раз видеть, как топят ребёнка, — Корантен подобрал свайку и стал вертеть в пальцах. — Через полгода она умерла. Отец взял с меня слово

никогда больше не брать в руки янтарь при свидетельнице. Без янтаря, конечно. Он знал, что другое на меня не ложится.

— И ты держал?

— Семь лет, — он повернул голову ко мне. — Пока Совет не прислал отцу письмо, что брак наследников перед Приливом — долг обоих домов. А потом отца утопили, и такое же послание пришло мне.

— Ты мог отказаться.

— Мог. Дом Ардуэн лишился бы имени, верфей, голоса в Совете. Сестра — приданого и будущего. Сорок человек, которые у нас трудятся, — заработка. А город остался бы без брака перед Приливом, — он дёрнул плечом, но в этом не было ничего лёгкого. — Говорят, тогда море придёт. Не знаю, правда ли это. Я никогда не видел, как оно приходит.

— А если бы ты пришёл и тебя раскрыли?

— Тогда тонул бы только я, — от того, как просто это прозвучало, мне стало холодно. — Я выбрал вариант, где тонет меньше людей. Отец научил меня считать.

Над заливом пролетели чайки, низко, к ночлегу на скалах. У мыса, далеко, качался на воде огонёк — фонарь на мачте. Его сестра ждала.

— Почему ты не уплыл? — я спросила это прежде, чем решила, стоит ли. — Вчера. Ты стоял у Камня. Твоя сестра держала лодку. Ты мог уйти за створ, и тебя бы никто не догнал.

— Мог, конечно.

— Почему не ушёл?

Корантен смотрел на меня так долго, что я успела пожалеть о вопросе.

— Потому что тогда отец навсегда останется тем, кем его сделали, — он ответил медленно. — Человеком, нарушившим обет, из-за которого утонули сорок душ. Его имя будут пугать детей. А я буду жить на островах под чужим, и никто никогда не узнает правды. Это хуже, чем Камень.

— Какой правды?

— Что он не нарушал.

Я ждала этого. Я знала, что он это скажет, ещё в архиве, когда он назвал мою ошибку «конечно». И всё равно у меня внутри что-то сжалось, как бусина в кулаке.

— Я видела его нить, — мой голос стал твёрже, чем мне хотелось. — Порванную. Два конца, у него и у Кермарека.

— Ты видела, что она порвана, — он не стал спорить. — Но не знаешь, почему.

— Нить рвётся, когда нарушают обет. Другого не бывает.

— Так написано в твоём уставе.

— Так есть.

— Ты в этом уверена, свидетельница? — Корантен наклонился вперёд, опершись локтями о колени. — Так же уверена, как была вчера утром в том, что у каждого человека, который берёт в руки янтарь, появляется нить?

Мне нечего было ему ответить. Я стояла на краю старого стапеля, и вода у его подножия шлёпала о сваи, и где-то в посёлке за верфями кричала женщина, сзывая детей домой.

* * *

Мы заговорили о деле, когда совсем стемнело. Корантен зажгёт фонарь, поставил его на доски между нами, и я наконец села — не рядом с ним, а напротив, на старый ящик из-под гвоздей. Подол сразу промок, но мне уже было всё равно.

— Давай посчитаем, — он и правда загибал пальцы. — Ты скрыла немного на круге Аэлиз. Если об этом узнают, тебя саму выведут из гильдии. Или хуже, я не знаю, что у вас делают за такое. Это первое. Второе: я могу сказать об этом кому угодно — Кермареку, Совету, твоей матушке.

— Не можешь. Сначала тебе придётся признаться, что ты немой.

— Верно. Поэтому я не скажу, — он загнул третий палец. — Ты можешь в любой день до Прилива пойти к матушке и отдать ей бусину. Тогда меня утопят, а тебя похвалят за осторожность. Но ты этого не сделаешь, потому что тогда никогда не узнаешь, зачем я пришёл на маяк. А тебе надо понимать.

— Ты меня совсем не знаешь.

— Я три года думал о тебе каждый день, — он не опустил глаз. — Не так, как тебе сейчас могло показаться. Я думал, что скажу тебе, если встречу. Перебрал сотню слов. Знаю тебя хуже, чем хотел бы, но лучше, чем ты думаешь.

От этого признания мне стало не по себе — и почему-то не только от страха.

— Чего ты хочешь? — спросила я.

— Чтобы ты пересмотрела дело отца. Не на суде — сама. Достань его печать, посмотри на неё по-настоящему. Подними записи. Поговори с людьми, которые были на дамбе. Тебе они выложат то, чего мне не открыли бы даже под янтарём.

— А если я посмотрю и увижу то же самое?

— Тогда скажешь мне. И я больше не буду тебя ни о чём просить.

— А ты? — я подалась вперёд. — Что ты дашь мне взамен?

Корантен посмотрел на фонарь.

— Через тридцать шесть дней ты встанешь на тот же круг, и нить снова будет пустой. Ты это знаешь. Двенадцатая строка не спасёт тебя дважды. Тогда тебе придётся сказать «не вижу». Или солгать и застыть.

— Знаю, не напоминай.

— Значит, тебе тоже нужен выход. Способ скрепить Прилив без моей клятвы. Я не знаю, есть ли он. Но знаю, кто его искал.

— И кто же?

— Мой отец, — Корантен развязал шнур на запястье и протянул мне. Мерный шнур, тонкий, просмолённый, с узлами через равные промежутки. — Последний год перед дамбой он почти не спал. Ходил под городом, по старым водостокам, по фундаментам. Говорил, что первые дамбы Кер-Ис-Мора ставила Аэлиз, и что она строила их не так, как теперь. Он что-то нашёл. Не объяснил мне что. Обещал только рассказать, когда будет уверен. Через неделю дамба прорвалась.

Я не взяла шнур. Он так и держал его на раскрытой ладони, между нами, над фонарём.

— И что я должна с ним делать?

— Ничего. Это не залог, — он мотнул головой. — Залог на меня не ложится, ты сама видела. Это просто вещь. Отцовская. Узлы на нём завязывал он, и замеры Гуэрнской дамбы тоже его. Если я тебя обману, отнеси шнур Кермареку. Он знает, чей это. Он поймёт, что я был с тобой, и что-нибудь придумает.

— Это не удержит тебя.

— Нет, — он согласился легко, почти весело. — Ничто меня не удержит, свидетельница. Ни янтарь, ни шнур, ни Камень. Тебе придётся мне верить.

— Я не умею.

— Чему тебя тогда учили девять лет?

— Проверять всё.

— Вот, — Корантен положил шнур на доски рядом с фонарём, раз я не брала его из рук. — А теперь проверить не получится. Придётся по-другому.

Я смотрела на шнур. На нём было двадцать узлов, я пересчитала. Последний был затянут иначе, двойным, с хвостиком, как вяжут на память.

— Я заверила сорок обетов с весны, — я обращалась к шнуру, не к нему. — Сорок нитей. Я видела каждую. Я ни разу в жизни не заключала договора, который нельзя проверить.

— Я тоже, — Корантен ответил так тихо, что я едва расслышала за плеском воды. — У меня их вообще никогда не было. Все мои договоры — с людьми, которые не знали, кто я. Ты первая, кто знает и всё равно сидит напротив.

Фонарь потрескивал. Вокруг него вились мелкие мошки, которых в это время года уже не должно было быть, и одна села мне на перчатку. Я сдула её.

— А ты почему в гильдии? — Корантен спросил это без всякого перехода, будто давно собирался. — Свидетельниц ведь не набирают по объявлению.

— Меня отдали.

— Кто?

— Отец, — я смотрела на мошек. — Он был копальщиком на отмелях Кермареков. Взял в долг на лодку, чтобы выйти из найма и сборщиком работать на себя. Лодку разбило в первый же сезон. Долг рос. Тогда он заключил новый обет с Янтарным двором: гильдия покрывает его долг, а он отдаёт ей ребёнка. Меня. Мне было восемь.

— Он знал, что ты видишь нити?

— Я тогда ещё не видела. Это проявляется позже, у одной послушницы из десяти. Остальных учат на писарш, на ключниц, на полировщиц. Отцу просто нужно было кого-то отдать, а брат был младенцем.

— А брат теперь на копанках.

— Отец умер, когда Эрвану было восемь. Долг перешёл на него, как положено по обету, — я пожала плечами, хотя мне было совсем не всё равно. — Девять кругов. Три года работы. Или выкуп.

Корантен ничего не говорил какое-то время. Потом поднял с досок свайку и положил её обратно, ровно на прежнее место.

— Значит, ты тоже залог, — в его голосе не было жалости. Просто отметил, как отмечают глубину на мерном шнуре.

— Я свидетельница.

— Ты свидетельница, которую отдали в залог за лодку, — он чуть наклонил голову. — Это не одно и то же, но и не совсем разное.

* * *

Мы договорились, сидя по разные стороны фонаря на гнилом стапеле. Ни бусин, ни слов при свидетелях, ни залогов. Я перечислила условия вслух, по привычке, как на заверении, и он слушал, не перебивая.

Я не выдаю его до дня Прилива.

Я пересматриваю дело Иво Ардуэна: печать, записи суда, свидетелей прорыва.

Он помогает мне найти то, что искал его отец, — способ скрепить Прилив без его клятвы.

Мы не лжём друг другу. Если один из нас решит отступить, он скажет об этом другому заранее.

Последнее предложил Корантен. Я сначала не поняла, зачем.

— Чтобы было честно, — он объяснил это, не глядя на меня. — Раз меня нельзя наказать за нарушение, пусть меня хоть можно будет предупредить.

— Это бессмысленно. Ты можешь соврать и об этом.

— Могу. Но если не совру — ты будешь знать, что я не вру.

Я взяла шнур. Он оказался тяжелее, чем выглядел, и пах дёгтем. Я намотала его на запястье поверх перчатки, неумело, и Корантен, посмотрев на это, молча взял мою руку и перевязал — двумя быстрыми движениями, туго, но не больно.

— На дамбе так носят, — он отпустил мою руку. — Чтобы не потерять в воде.

— Я не собираюсь в воду.

— Никто не собирается, — Корантен поднял фонарь и встал. — Завтра я покажу тебе Гуэрнскую дамбу. Прилив поздний, к полудню на отмели можно пройти посуху. Сможешь?

— Мне надо будет придумать заверение на правом берегу.

— Ну так придумай.

Он проводил меня до самого берега, держась шагах в пяти позади, будто случайный прохожий, и остановился в тени канатного навеса, когда паромщик заметил нас. Я поднялась на паром одна. Старик опять ничего не спросил.

На середине залива я обернулась. Огонька у мыса уже не было. Верфи лежали в темноте, и только на третьем стапеле ещё горел фонарь, который никто не уносил.

А на корме парома, у самого руля, сидел мужчина в синей куртке, которого я не заметила, когда садилась. Меня он будто не замечал и глядел на воду. На груди у него, на шнурке, висела маленькая янтарная волна — знак, который носят слуги дома Кермарек.

Я спрятала руку со шнуром под плащ и до самой пристани не шевелилась.

На берегу он сошёл первым, не оглядываясь, и свернул в переулок к Рыбному рынку. Может быть, ему просто нужно было на правый берег, как и мне. Может быть, он даже не знал, кто я такая. Но белые перчатки свидетельницы на пароме в сумерках, после вечерней воды, когда все заверения давно закончены, — такое не забывают. И Гильдасу Кермареку не нужно было много, чтобы сложить два и два.

По Отмельной лестнице я поднималась бегом. Шнур на запястье тёр кожу через перчатку и пах дёгтем всю дорогу до кельи.

Глава пятая. Дом над отмелями

Приглашение принёс мальчишка в синей куртке на рассвете, когда я ещё не успела умыться. Он стоял у ворот Янтарного двора, переминаясь с ноги на ногу, и держал письмо обеими руками, словно оно могло укусить. Сестра-привратница передала его мне вместе с сообщением, что внизу, на дороге, ждёт коляска.

Почерк был не Гильдаса. Ровные, наклонные, очень красивые буквы, какими пишут секретари. «Хранитель Дамб просит свидетельницу Анаик Сальве почтить его дом визитом сегодня утром, дабы обсудить порядок церемонии в день Прилива». И ниже, другой рукой, крупно и коротко: «Жду. Г. К.».

— Тебе обязательно ехать? — Мадлон заглянула мне через плечо и поморщилась. — Пусть сам приезжает. Ты свидетельница, а не его кухарка.

— Порядок церемонии положено обсуждать с домами.

— Порядок церемонии положено обсуждать с матушкой.

— Матушка не встаёт.

Мадлон посмотрела на меня, на письмо, снова на меня. Потом сняла с себя шерстяной шарф, серый, вязаный, с распутившейся петлёй на конце, и обмотала мне шею поверх воротника плаща.

— В коляске продует, — объяснила она в ответ на мой взгляд. — И вообще, пусть видит, что за тобой кто-то присматривает.

* * *

Дом Кермареков стоит на круче над отмелями, так что из его окон видно весь правый берег до самого мыса — ряды копанок, промывочные лотки, сарай скупщиков, тачки, людей. Говорят, его построили на этом месте нарочно, чтобы хозяин мог за завтраком пересчитать своих копальщиков. Я не знаю, правда ли это. Но окна там огромные, из настоящего стекла, а не из рыбьего пузыря, как в Среднем городе, и все они смотрят вниз.

Меня провели через холл, где на стенах висели старые карты залива, по лестнице с резными перилами и оставили в комнате, которую секретарь назвал кабинетом. Здесь было тепло и пахло воском. На длинном столе у окна стояли весы с медными чашками, лежали лупы, щипцы, стопки бумаг. А вдоль стен, на полках, в стеклянных коробках, хранилась коллекция, о которой я слышала, но никогда не видела.

Янтарь с жизнью внутри.

В одном куске застыла муха с прозрачными крыльями, так целиком, что казалось, она вот-вот взлетит. В другом — паук, вцепившийся лапами в собственную нить. Листок папоротника. Пёрышко. Пузырёк воздуха, внутри которого, если присмотреться, дрожала капля воды. Я переходила от одной витрины к другой и не могла оторваться. Наш янтарь в мастерской был чистым — мутным, светлым, тёмным, но всегда пустым. Свидетельницы отбраковывают куски с «соринками», как говорит Бенуаза, и продают скупщикам. Я никогда не задумывалась, куда они уходят.

— Нравится вам? — поинтересовался он.

Я обернулась. Гильдас Кермарек стоял в дверях, и я не слышала, как он вошёл, хотя он был грузным человеком в подкованных сапогах.

— Мастер Кермарек.

— Сорок лет собираю, — он прошёл к столу, не глядя на полки. — Отец начал, я продолжил. Ваша гильдия считает, что янтарь с начинкой испорчен. Для обетов, может быть. Но покупатели за морем платят за него втрое. Им нравится смотреть на то, что не успело убежать.

Он сел в кресло у стола и жестом указал мне на второе, напротив. Я села. Между нами оказались весы.

— Не буду тратить ваше время на порядок церемонии, — Гильдас сложил руки на животе. — Он известен триста лет, его знает каждый писарь. Мы оба это понимаем. Давайте поговорим о мутной нити.

— Я сказала всё, что могла, у маяка.

— Вы сказали всё, что хотели. Это не одно и то же. — Голос у него был мягкий, почти отеческий, и от этого становилось только неуютнее. — Свидетельница, я не враг вам. Напротив. Это я просил, чтобы обручение моей дочери заверяли именно вы. Ваша мать-настоятельница, кажется, решила, что я хотел свести счёты с Ардуэнами вашими руками. Она ошиблась. Я хотел честного свидетеля. Я его получил.

— Тогда вас должно устраивать моё слово.

— Оно меня устраивает. Мне не нравится, что вы произнесли его наполовину.

Он взял со стола щипцы и повертел их в пальцах.

— Двенадцатая строка, — Гильдас произнёс это словно пробовал на вкус незнакомое вино. — Я посылал вчера за старым уставом. Мой секретарь нашёл её. Очень интересная строка. По ней нить в год Прилива может лечь мутно. А почему — ни слова. Ваша гильдия всегда очень аккуратна с причинами, — он положил щипцы. — Но я торговец, свидетельница, и в причинах разбираюсь лучше, чем в молитвах. Когда товар приходит мутным, это значит, что его разбавили. Или что продавец что-то скрывает. Море тут ни при чём.

— Это ваше мнение.

— Это мой опыт, — он подался вперёд. — Скажите мне честно, между нами. У моей дочери нить ясная, вы это подтвердили. Мутная — у Ардуэна. Почему?

— Я не могу говорить о причинах до повторной проверки. Устав...

— Устав, — Гильдас наклонил голову словно я сказала что-то очень трогательное. — Хорошо. Тогда я скажу, а вы просто послушайте.

Он встал и подошёл к окну. Отсюда, сверху, копанки казались аккуратными серыми прямоугольниками, расчерченными канавами, а люди на них — мелкими, как буквы на табличке.

— Ардуэны лгали этому городу триста лет, — он говорил, не оборачиваясь. — Их предок погубил Мор-Ис. Их отец отправил на дно сорок моих людей. Их сын пришёл на маяк, взял бусину и произнёс слова, а янтарь от него отвернулся. Вы это заметили, свидетельница. Я не знаю, что именно было перед вашими глазами, но знаю, что было. Я видел ваше лицо.

Я молчала. Сердце у меня колотилось где-то в горле, и я держала руки на коленях, чтобы он не заметил, как они дрожат.

— Есть строка устава, которую вы знаете лучше двенадцатой, — Гильдас повернулся. — Ложь в сердце мутит янтарь. Если вы напишете, что нить жениха мутна по этой причине, обручение будет расторгнуто по его вине. Дом Ардуэн потеряет имя рода. Таков залог. Всё, что за этим именем стоит, — верфи, земли, голос в Совете — отойдёт по закону к той стороне, которую обманули. К нам.

— А Прилив?

Он растянул губы. Впервые за весь разговор.

— Обету Аэлиз нужна кровь двух берегов. Не фамилия, а кровь. Мой двоюродный племянник вырос на левом берегу, его мать была оттуда. Он вполне годится. Совет согласится, я в этом уверен.

— Совет — это вы сами.

— Совет — это семь домов. Но я говорю в нём громче остальных, это правда, — Гильдас снова сел. — И вот ещё что. Мать-настоятельница больна. Вы знаете это лучше меня. Когда её не станет, новую выберут Старшие вместе с Советом. Так написано в уставе вашей гильдии, свидетельница, — в восьмом свитке, если вам интересно. И первое, что будет решать новая настоятельница, — кого из молодых возвести в Старшие.

Он открыл ящик стола, достал что-то и положил на чашку весов. Чашка со звоном опустилась. Девять серебряных кругов, один на другом.

— Ваш брат, кажется, должен моему дому девять кругов.

Я смотрела на стопку серебра. Она была совсем маленькой. Меньше моей ладони. Эрван работал за неё на копанках с восьми лет, по колено в ледяной воде, в любую погоду.

— Это не подкуп, — Гильдас говорил всё так же мягко. — За ложь платят иначе. Я прошу вас сказать правду. Просто раньше и до конца.

Я встала. Колени были ватными, но держали.

— Мастер Кермарек, устав запрещает называть причину мутной нити до повторной проверки. Я её назову в день Прилива, у Маяка. При вас, при Совете и при Ардуэнах. Раньше — нет.

Он смотрел на меня снизу вверх, и в его лице не было злости. Только терпение. Так смотрят на ребёнка, который отказывается от лекарства, потому что оно горькое.

— Как скажете, — он не стал вставать. — Серебро полежит здесь. У меня нет привычки забирать обратно то, что я однажды выложил, — Гильдас взял лупу и поднёс её к стеклянной коробке с мухой. — Тридцать пять дней — долгий срок, свидетельница. Особенно для девушки, которая катается на пароме после вечерней воды. Левый берег в сумерках опасен. Там легко поскользнуться.

* * *

Секретарь проводил меня до лестницы. Внизу, у дверей в сад, ждала Леонор.

Она была одета просто — в тёмное шерстяное платье и короткий плащ, волосы заплетены в одну косу, без короны вокруг головы. Так она выглядела младше и больше походила на ту девочку, которую я помнила.

— Я провожу свидетельницу до коляски, — Леонор обращалась к секретарю, не ко мне, и тот послушно поклонился и исчез. — Пройдём садом, — теперь она обращалась ко мне. — Так короче.

Это было неправдой. Сад Кермарексов спускался террасами по склону, к самым отмелям, и садовой дорожкой до ворот было втрое дальше, чем двором. Но я пошла.

Мы молчали до второй террасы. Здесь росли низкие, скрюченные от ветра яблони, и под ними лежали неубранные падалицы, коричневые, сладко пахнущие. Леонор подобрала одно яблоко, повертела и бросила за ограду.

— Он предложил тебе серебро, — она не спрашивала.

— Ты подслушивала?

— Мне незачем. Я знаю отца, — она пошла дальше по тропинке. — Он всегда начинает с коллекции. Показывает мух в янтаре. Потом говорит что-нибудь мягкое. Потом кладёт на весы деньги. Если человек их не берёт, он говорит про опасный левый берег, или про больную мать, или про брата. Смотря что у кого есть.

— Ты так спокойно об этом говоришь.

— А как я должна? — Леонор остановилась у края террасы. — Я его дочь. Я восемнадцать лет смотрю, как он это делает. Он очень хорош в этом. Почти никогда не ошибается.

Внизу, за оградой сада, начинались копанки. Отсюда, с третьей террасы, они были ближе, чем из окна кабинета: люди стояли по колено в воде, с лопатами и решетами, мокрые спины, серые от ила рубахи. Один мальчишка, тощий, коротко стриженный, вытаскивал из ямы ведро песка, почти с него ростом.

Я узнала его не сразу, а когда поняла, кто это, у меня перехватило дыхание.

— Это Эрван.

— Я знаю, — Леонор встала рядом. — Я попросила старшину поставить его сегодня на ближнюю копанку. Подумала, ты захочешь его увидеть. Я не знаю, когда вы виделись в последний раз.

— На прошлый Праздник Отлива, — у меня дрогнул голос. — Полгода назад. Нам дают час.

Эрван вывернул ведро в промывочный лоток, вытер лицо рукавом и, кажется, на секунду поднял голову к дому. Видел ли он нас? Вряд ли. Мы стояли за ветками яблонь, а внизу никто никогда не смотрит наверх подолгу: старшина не любит.

— Зачем ты это сделала? — я не могла отвести глаз от брата.

— Чтобы ты поняла, что отец знает, на что давить. И чтобы ты знала, что я знаю, — Леонор говорила ровно, без всякого выражения. — Это честнее, чем если бы он сам повёл тебя сюда. А он бы повёл. Не сегодня, так через неделю.

Я повернулась к ней. Она смотрела не на меня, а на копанки, и её профиль на фоне серого неба был очень чётким, будто вырезанным.

— Что тебе от меня нужно, Леонор?

— То же, что и ему. Правда, — она наконец посмотрела на меня. — Только мне она нужна для другого.

— Для чего?

— Чтобы знать, за кого я выхожу, — Леонор помолчала. — Я не люблю Корантена Ардуэна. Он не любит меня. Я видела его четыре раза в жизни, и трижды он говорил со мной о сваях. Это хорошо. Это честно. Брак перед Приливом — служба, а не сказка, мне это объяснили лет в десять. Но если с этим браком что-то не так... — она замолчала и долго подбирала слова. — Если нить у него мутна не от моря, я хочу узнать это от тебя. Не от отца, не от Совета, не у маяка при всех. От тебя. И раньше, чем отец.

— Я не могу говорить о причинах.

— Знаю. Двенадцатая строка. — Губы у неё чуть дрогнули. — Я тоже вчера читала устав. Не только отцовские секретари умеют искать.

Она протянула руку и одёрнула на мне шарф Мадлон, который сбился набок. Так естественно, будто мы снова были маленькими и она поправляла мне чепчик перед тем, как кормилица выведет нас гулять.

— Ты помнишь сарай с сетями? — я сама не знаю, почему спросила.

— Помню. Ты там застряла между бочками, и я тянула тебя за ноги, а ты орала так, что прибежал старый Жоэль с вилами. Думал, там лисица, — Леонор отпустила шарф. — Мне было семь, тебе шесть. Ты обещала мне, что больше не полезешь туда, где не пролезет кошка.

— И полезла через неделю.

— Через три дня, — она почти улыбнулась. — Я тогда решила, что тебе нельзя верить на слово. Потом тебя забрали, и сомневаться стало не в ком.

Мы постояли ещё немного. Внизу старшина свистнул, и копальщики, побросав лопаты, потянулись к сараю — наверное, на полуденный хлеб. Эрван шёл последним, волоча за собой пустое ведро.

— Коляска у нижних ворот, — Леонор отвернулась. — Я скажу отцу, что ты была вежлива и ничего не сказала. Это правда, и ему этого достаточно, чтобы думать, что ты боишься.

— А я боюсь?

— Ты дрожала, когда спускалась по лестнице, — Леонор пошла вверх по тропинке, не оборачиваясь. — Я видела. И отец видел. Только он решил, что ты дрожишь от страха перед ним.

— А от чего ещё?

Она остановилась на ступеньке террасы.

— Не знаю, — Леонор ответила просто и, кажется, честно. — Но ты всегда дрожала не от того, от чего думали взрослые. Даже в сарае. Ты не застрять боялась, а того, что я тебя брошу и уйду.

Она ушла наверх, к дому. Я осталась у ограды одна.

Одна я пробыла недолго. По тропинке снизу, от копанок, поднимался мальчишка с ведром воды, которое ему, видно, велели отнести на террасы, и шёл он, по-копальщицки сгорбившись, не глядя по сторонам. У ограды он поднял голову, увидел меня — и ведро качнулось у него в руке так, что вода плеснула на сапоги.

— Анаик? — выдохнул он.

Вблизи он оказался ещё тоньше, чем сверху. Руки до локтей были в сером иле, ногти обломаны, под глазом желтел старый синяк. Но вырос: в последний раз он доставал мне до плеча, а теперь почти до уха.

— Тебя Кермареки позвали? — Эрван поставил ведро и вцепился обеими руками в прутья ограды. — Это из-за маяка, да? Все говорят. Вчера в сарае только и было разговоров: свидетельница Сальве сказала Хранителю Дамб, что нить мутная, а он аж побагровел. Старый Тангуй говорит, он теперь тебя со свету сживёт. А я сказал, что не выйдет у него, потому что ты его не боишься.

— Я боюсь, — я просунула руку сквозь прутья и стёрла у него со щеки полосу ила. — Очень.

— Ну и что. Всё равно не сживёт, — он покосился на дом. — А правда мутная? Или ты специально? Тангуй считает — чтобы Ардуэнов прижать.

— Правда мутная.

— А у Ардуэна или у неё?

— Эрван, не надо, — оборвала я.

— Ладно, ладно, — он шмыгнул носом. — Нельзя. Знаю. Тайна гильдии, — помолчал и добавил тише: — А старшина на этой неделе добрый. Не бьёт. Это из-за тебя, наверное. Боятся, что ты придёшь и что-нибудь заверишь ему поперёк.

У меня защипало в глазах, и я сделала вид, что смотрю на копанки.

— Эрван, ты помнишь прорыв на Гуэрне? Три года назад?

— Кто ж не помнит, — он перестал улыбаться. — Мы с отцом тогда на средних копанках были, нас не залило. А нижних всех. Мы потом неделю их из ила вытаскивали.

Я этого не знала. Он никогда мне не рассказывал, а я не спрашивала: в тот месяц я сама не могла говорить о Гуэрне.

— Что говорили после? Копальщики. Не на суде, между собой.

— Разное, — Эрван пожал острыми плечами. — Что Ардуэн проклят. Что море взяло долг раньше срока. А Тангуй говорил, только тихо, и то когда выпьет, что в ту ночь, перед прорывом, видел у свай лодку с фонарём. Маленькую. Будто кто-то что-то делал под дамбой. Но он тогда был пьяный, ему никто не поверил.

— А ты?

— Я тоже не поверил, — брат посмотрел на меня внимательнее. — А надо было?

Снизу свистнул старшина, протяжно и зло. Эрван вздрогнул, схватил ведро.

— Мне пора. Ты приходи на Праздник Отлива, ладно? А то в прошлый раз опоздала, и нам оставили полчаса вместо часа.

— Приду. Честное слово, без всякого янтаря.

Он уже бежал вверх по тропинке к дому, расплёскивая воду, и не обернулся. А я стояла у ограды и думала, что если Гильдас Кермарек захочет, он найдёт способ сделать так, что на следующий Праздник Отлива встречаться будет не с кем.

* * *

Коляска довезла меня до Янтарного двора. Я поднялась к себе, повесила шарф Мадлон на крючок и долго сидела на кровати, глядя на мерный шнур на запястье, который не сняла даже на ночь.

Был полдень. Отлив уже начался. Если Корантен не передумал, через склянку на Гуэрнской отмели можно будет пройти посуху.

Я переоделась в старое платье послушницы, тёмное и потёртое, надела поверх плащ, но без знака гильдии на плече, и вместо белых перчаток натянула простые шерстяные. В кошель положила четыре бусины — на случай, если кто-то спросит, куда я иду, и мне придётся что-нибудь заверить.

Сестре Бенуазе у ворот я сказала, что иду на правый берег, к копанкам, повидать брата. Это была почти правда. А почти правды в последние дни у меня становилось всё больше.

Глава шестая. Гуэрнская дамба

Гуэрнская дамба отделяет нижние копанки Кермареков от открытого моря. Это самая южная из городских дамб и к тому же длиннейшая: от скального мыса Гуэрн до песчаной косы почти полмили, если идти по гребню. С суши она выглядит как невысокий земляной вал, поросший жёсткой травой, по которому можно гулять. С моря — как стена.

Я знала её с детства. Отец водил нас с матерью на гребень по праздникам, чтобы смотреть, как солнце садится в воду, и показывал пальцем на нижние копанки: вот там, говорил он, лучший янтарь на всём берегу, потому что ближе всего к морю. Через год после того, как меня забрали в гильдию, отца перевели на средние. А ещё через пять лет нижние залило.

Корантен ждал у старого лодочного сарая под мысом, там, где дамба упирается в скалу. Сарай давно бросили: крыша просела, ворота висели на одной петле, внутри пахло гнилыми водорослями. Он сидел на перевёрнутой бочке и чистил ножом короткий железный прут, и когда я подошла, посмотрел на меня словно не сразу узнал.

— Ты похожа на послушницу, которую выгнали за кражу хлеба, — заметил он наконец.

— Так и задумано.

— Получилось, — он поднялся и кивнул на пару сапог, стоявших у стены сарая, высоких, рыбацких, просмолённых до колен. — Надень. Это Гвенолы, ей великоваты, тебе будут в самый раз. Внизу ил.

Сапоги действительно пришлись впору, хотя внутри ещё хранили чужое тепло и пахли рыбой. Я затянула ремни поверх юбки и почувствовала себя словно собираюсь не на прогулку, а на копанку. Корантен смотрел, как я вожусь с пряжками, но помогать не стал.

— Кермарек звал тебя сегодня, — он не спрашивал.

— Откуда ты знаешь?

— Паромщик видел коляску на правом берегу. Он сказал Гвеноле, она — мне, — Корантен убрал нож. — Что он хотел?

Я рассказала. Про коллекцию с мухами, про двенадцатую строку, которую Гильдас нашёл за ночь, про ложь в сердце, двоюродного племянника с левого берега и про то, кто будет выбирать новую мать-настоятельницу. Про лодку с фонарём, которую старый Тангуй видел под дамбой в ночь прорыва, — тоже. Про девять кругов на весах я рассказала последним, и Корантен слушал, не перебивая, глядя куда-то мимо меня, на дамбу.

— И про паром, — я добавила под конец. — Он сказал, что левый берег в сумерках опасен.

— У него вчера был человек на пароме.

— Я видела.

— Я тоже, — Корантен наконец посмотрел на меня. — Поэтому я тебя и не провожал дальше канатного навеса. Хотел, чтобы он видел, что ты уходишь одна.

— Он всё равно знает.

— Знает, что ты была на левом берегу. Не знает, с кем и зачем. Это разные вещи, — он помолчал. — Девять кругов — это мало. Он мог бы дать девяносто. Значит, он думает, что тебя купит не серебро, а брат.

— Меня никто не купит.

— Посмотрим, — насмешки в его голосе не было, но мне всё равно захотелось его удари́ть. — Брата твоего я видел на копанках. Тощий, рыжеватый, с синяком под глазом. Всё время дерётся с сыном старшины.

— Откуда ты...

— Я чиню их водоотводы каждую весну. Кермарек платит мало, зато исправно, — он пошёл к дамбе. — Идём. У нас меньше двух склянок до того, как вода повернёт.

* * *

Мы спустились с мыса по камням на морскую сторону дамбы, и я поняла, почему Корантен говорил про ил.

Отлив обнажил подножие дамбы на сорок шагов. Там, где во время прилива бились волны, теперь лежало дно — серое, блестящее, изрезанное мелкими протоками, по которым ещё стекала в море вода. Пахло так, как пахнет только то, что долго было под водой: йодом, тухлыми раковинами, чем-то сладковатым и тяжёлым. Вдоль подножия, как гнилые зубы, тянулся ряд старых свай — чёрных, обросших водорослями и ракушками, обломанных на разной высоте.

— Это ряж, — Корантен остановился на последнем сухом камне. — Основание дамбы. Сваи забивают в два ряда, между ними кладут булыжник, сверху глину и землю. Сваи держат кладку, кладка — глину, а глина — воду. Если сгниёт одна свая, ряж выдержит. Если три подряд — камень поползёт.

— Ты мне объясняешь, как строят дамбы?

— Я тебе объясняю, на что смотреть, — он прыгнул в ил, и ноги ушли в него по щиколотку. — Иди по моим следам. Шаг в сторону — провалишься по колено.

Я пошла по его следам. Ил чавкал и тянул сапоги вниз, каждый шаг давался с трудом, и через двадцать шагов я уже дышала словно поднималась по маячной лестнице. Корантен шёл впереди легко, как по мостовой, и ни разу не обернулся проверить, иду ли я.

Дамба над нами была разной. Слева, со стороны мыса, тянулась старая кладка — тёмные глыбы в лишайнике, глина, из которой торчали корни. А дальше, шагов на сто, всё было другим: светлый камень, ровный, свежий, ещё без водорослей, и сваи под ним стояли новые, жёлтые, как воск.

— Это залатали после прорыва, — Корантен остановился. — Кермарек нанял каменщиков из-за моря. Хорошая работа, дорогая. Он рассказывал в Совете, что ему пришлось за неё заплатить из своего кармана, потому что Ардуэн не исполнил обет.

— А на самом деле?

— На самом деле Совет вернул ему каждый круг из городской казны, — он пошёл дальше, туда, где старая кладка встречалась с новой. — Мне нужно не это. Мне нужно то, что осталось от отцовской починки.

На стыке старой и новой кладки сваи стояли не в ряд, а как попало, косо, некоторые совсем повалились. Это были остатки того, что выдержало прорыв, — края раны. Корантен присел перед одной из них и стал счищать ножом ракушки.

— Отец менял здесь сваи весной, — он говорил, не поднимая головы. — Двенадцать штук. Дубовые, из лиги за Гуэрном. Я сам ездил выбирать. Он клялся Кермареку, что дамба выдержит осенние шторма. Первый она перенесла, в начале месяца. А второй — нет. Ночью, без шума, сразу. Я тогда спрашивал себя каждый день, как так вышло. Дуб так быстро не гниёт. Даже в морской воде.

— Ты не смотрел тогда?

— Меня не пустили. После прорыва дамбу охраняли люди Кермарека, пока не приехали каменщики. А потом новые сваи забили прямо поверх старых. Я думал, отцовских тут не осталось совсем, — он счистил ещё одну полосу ракушек, и под ними показалось тёмное, твёрдое дерево. — Но эти три уцелели. Их не стали вытаскивать, только обрезали по верху. Я нашёл их весной, когда чинил водоотвод. И с тех пор ждал большого отлива.

— Почему не посмотрел сам?

Он повернул голову и посмотрел на меня снизу вверх.

— Потому что моё слово ничего не стоит, — прозвучало это так просто, что у меня внутри что-то царапнуло. — Если я скажу, что нашёл здесь доказательство, все решат, что я его сделал сам. Мне нужен был свидетель. Не всякий. Тот, кому поверят.

Он отложил нож и поманил меня ближе.

Я присела рядом на корточки. Ил под коленями был холодный и мокрый, юбка сразу промокла насквозь, но я не обратила на это внимания. Корантен провёл пальцем по свае — снизу вверх, по той стороне, что смотрела в море.

Свая была обломана на высоте моего плеча. Излом был рваный, щепастый, как бывает, когда дерево ломается под тяжестью. Но ниже, на ладонь от ила, по дереву шла ровная тонкая линия. Я сначала приняла её за трещину. Потом за след от каната. А потом Корантен вставил в неё лезвие ножа, и оно ушло внутрь почти на всю длину.

— Её подпилили, — вырвалось у меня раньше, чем я поняла, что говорю.

— На три четверти, — он вытащил нож. — С морской стороны. Ниже, чем бывает вода при обычном отливе. Так, чтобы ряж держал, пока стоит спокойная погода, и сложился при первом сильном ударе. Вторая — так же. Я проверил прошлой весной, когда нашёл. Третья обломана ниже, не видно.

Я смотрела на распил. Он был очень ровный. Слишком аккуратный для пилы, которой работают плотники, — у тех зубья крупные, и дерево после них лохматится. Здесь срез был гладкий, будто его не пилили, а прорезали, и по стенкам шли тонкие параллельные бороздки, как на раковине.

Я протянула руку и тронула край пропила кончиком пальца, прямо в шерстяной перчатке. Бороздки чувствовались даже через шерсть.

— Что там? — Корантен смотрел не на сваю, а на меня.

— Ничего особенного.

— Ты что-то увидела.

— Я не знаю, — я убрала руку. — Мне показалось.

— Анаик, — он не повысил голоса, но произнёс моё имя так, что я вздрогнула. — Мы договорились не лгать.

Я долго молчала. Вода в протоках вокруг нас уже не стекала в море, а стояла, и это означало, что очень скоро она пойдёт обратно.

— В мастерской так режут янтарь, — у меня пересохло во рту. — Крупные куски, которые нельзя расколоть. Берут проволоку, натягивают на лучок, сыплют на срез мокрый песок и водят туда-сюда. Режет не металл, а песок: он истирает. Срез получается гладкий и в бороздках. Вот таких.

Корантен смотрел на меня. Я видела, как он понимает. Сначала в глазах, потом в том, как у него напряглись плечи.

— Проволочная пила.

— Ею режут не только у нас, — я заговорила быстрее. — Скупщики на правом берегу тоже. Резчики камня. Кто угодно, у кого есть проволока и песок.

— Кто угодно, — он повторил медленно. — И этот кто-то приплыл ночью к дамбе на маленькой лодке с фонарём, её и видел пьяный Тангуй. И подпилит под водой дубовые сваи проволокой, на которую сыпал песок. Это не два удара топором, Анаик. Это работа на всю ночь. Может быть, на две. Под водой, при отливе, со светом, который нельзя показать с берега. Это делал не кто угодно.

— Это не гильдия.

— Я этого не говорил.

— Ты подумал.

— Да, — он не стал спорить. — Подумал. А ты?

Я промолчала. Я смотрела на бороздки на свае и думала о мастерской под стеклянной крышей, о корытах, о проволочных лучках, которые висят на стене у полировочных столов, по шесть штук, и которые никто никогда не пересчитывает.

* * *

Вода повернула, когда мы шли обратно.

Я не заметила, как это случилось. Только что протоки стояли неподвижно, а потом в них вдруг появилось движение, тихое, едва заметное, и рябь на поверхности побежала уже не к морю, а к дамбе. Корантен остановился так резко, что я едва не налетела на него.

— Быстрее, — голос у него был ровным, но я услышала в нём то, чего не слышала до сих пор. — Не беги. Иди за мной.

Мы пошли быстрее. Ил под ногами становился всё мягче, вода в протоках поднималась, и через десяток шагов она уже плескалась у щиколоток. До камней у подножия мыса оставалось шагов тридцать. Двадцать. Я смотрела на спину Корантена и старалась ставить ноги точно в его следы, но вмятины в иле заливало, и я перестала их различать.

На пятнадцатом шаге я провалилась.

Нога ушла вниз до колена, сразу, и ил сомкнулся вокруг сапога, как кулак. Я дёрнулась — и провалилась второй ногой. Холод поднялся по бёдрам, вода плеснула мне на юбку. Я попробовала вытащить ногу, и ил только плотнее обхватил её.

— Корантен! Я застряла!

Он обернулся. Увидел. И пошёл ко мне — не бегом, медленно, проверяя дно перед каждым шагом.

— Не дёргайся, — он остановился в шаге от меня. — Чем больше дёргаешься, тем глубже уходишь.

— Я не дёргаюсь!

— Ты дёргаешься. — Он лёг на ил, животом, прямо в воду, и протянул мне руку. — Хватайся. Обеими. Не тяни ноги — откинься назад, ложись на спину, как в воду.

— Я не умею плавать.

На лице у него что-то мелькнуло — удивление, наверное, или ужас. Свидетельница, выросшая на побережье, которая не умеет плавать.

— Здесь не надо плавать. Здесь надо лежать. Ложись.

Я схватила его руку обеими своими и откинулась назад. Вода хлынула за воротник, ледяная, горькая, я вскрикнула, и он потянул. Не рывком, а медленно, ровно, как тянут сеть. Ил держал, не отпускал, а потом вдруг с громким хлопаньем сдался, и моя правая нога выскочила наружу — без сапога. Потом левая — в сапоге.

Он тащил меня по илу, как мешок, пока под нами не оказались камни, и только тогда отпустил.

Я лежала на спине на мокрых камнях у подножия мыса и смотрела в небо. Оно было серым, низким, и по нему летели чайки. Я была мокрая до нитки, в иле с головы до ног, на одной ноге у меня был сапог Гвенолы, а на другой — шерстяной чулок, весь серый. Где-то там, под водой, остался второй сапог.

Рядом, на камнях, сидел Корантен — мокрый и серый не меньше моего, и дышал так тяжело, что у него ходили плечи.

— Ты не умеешь плавать, — повторил он, глядя на воду.

— Свидетельниц не учат.

— Ты выросла на копанках.

— Меня забрали в восемь. Отец обещал научить летом.

Он помолчал. А потом вдруг рассмеялся — коротко, хрипло, совсем не так, как хохочут над шуткой. Скорее так, как люди, которые только что поняли, что живы.

— Гвенола меня убьёт за сапог.

И я тоже засмеялась. Не знаю почему. Наверное, по той же причине. Мы сидели на мокрых камнях, перемазанные илом, и смеялись, как дураки, пока вода у наших ног не поднялась до первого валуна и не лизнула мне пятку в мокром чулке.

* * *

С гребня дамбы было видно, как прилив закрывает отмель. Вода шла широко и спокойно, без волн, затягивая протоки, ил, обломанные сваи. Скоро от того места, где я провалилась, осталась только ровная серая гладь. Ещё через полсклянки исчезли и сваи.

Мы сидели на траве на гребне, спиной к копанкам. Корантен отжал куртку и разложил её на камне сушиться. Я отжала подол, сколько смогла, и обмотала босую ногу шарфом, который сняла с шеи, — не Мадлон, свой, тонкий.

— Кто знал, когда отец заканчивает починку? — я спросила это, глядя на воду.

Он ответил не сразу.

— Кермарек. Он принимал работу. Старшина Лоэ Кервен, он вёл бригаду и утонул в ту же ночь. Сам отец, — Корантен помолчал. — И свидетельница, которая заверяла обет. Обет был о сроке. Она знала срок.

— Матушка Органс.

— Да, она.

— Ей было сорок пять лет, у неё уже тогда не гнулись пальцы, — у меня получилось громче, чем я хотела. — Ты думаешь, мать-настоятельница гильдии ночью сидела в лодке под дамбой с проволочной пилой?

— Я думаю, что пилу не обязательно держать самой, — ответил он спокойно. — Но я ничего не утверждаю. Я просто перечислил, кто знал.

Я молчала. Ветер с моря трепал мокрые волосы, и я дрожала так, что стучали зубы.

— Вдова старшины, — я вспомнила клочок бумаги в перчатке. — Нолвенн Кервен. В записях суда сказано, что её не допросили, потому что болела. Она жива?

— Жива. Живёт за Рыбным рынком, у матери. Почти не выходит, — Корантен посмотрел на меня. — Я пытался к ней прийти, после суда. Она не открыла. Крикнула через дверь, что Ардуэнам ей сказать нечего.

— А свидетельнице?

— Не знаю. Свидетельнице, наверное, откроет, — Корантен поднялся. — Тебе надо домой. Ты замёрзла.

— Я не замёрзла.

— У тебя губы синие.

Он сказал это почти теми же словами, что Органс у очага, и я вздрогнула.

— Это от воды, — я подтянула колени к груди. — Хорошо хоть ты умеешь плавать.

— На дамбах иначе нельзя, — он смотрел, как вода закрывает последнюю сваю. — Летом научу. Если до лета доживём.

— Это обещание?

— У меня не бывает обещаний, свидетельница, — он ответил спокойно, без горечи. — Только намерения. Ты сама видела.

— Тогда намерение.

— Тогда намерение, — согласился он и подал мне руку.

Я её взяла.

Он довёл меня до сарая, отдал мой сухой плащ, брошенный там на бочку, и долго смотрел, как я пытаюсь натянуть на босую ногу уцелевший сапог Гвенолы, потом махнул рукой и вытащил из-под бочки свои старые башмаки — огромные, разношенные, на два пальца длиннее моей ноги.

— Набьёшь тряпками, — посоветовал он. — Дойдёшь.

— А ты?

— А я по камням пройду, тут недалеко, — Корантен посмотрел в сторону мыса, где за скалой, наверное, ждала лодка. — Анаик.

Я обернулась.

— Ты сегодня видела распил. Ты его узнала и сказала мне, — он не подошёл ближе. — Ты могла промолчать. Я бы не узнал.

— Мы договорились.

— Мы договорились без янтаря, — Корантен чуть наклонил голову. — Я думал, ты не умеешь.

Я не нашлась, что ответить. Он ушёл вдоль подножия мыса, перепрыгивая с камня на камень, и скоро скрылся за скалой.

Домой я шла в огромных чужих башмаках, набитых пучками сухой травы, мокрая, в иле, и всю дорогу видела перед собой ровный срез на дубовой свае и тонкие бороздки на нём.

Шесть лучков на стене мастерской. Их никто никогда не пересчитывал.

Мадлон встретила меня в коридоре восточного крыла. Она посмотрела на мои башмаки, на подол, на волосы, слипшиеся от ила, — и ничего не спросила. Только ушла и через несколько минут вернулась с ведром горячей воды и большим куском мыла, сваренного на бараньем жиру, того самого, которым мы полируем бусины.

— Потом расскажешь, — она поставила ведро у моей двери. — Или промолчишь. Но башмаки выброси. От них несёт словно в них кто-то умер.

— Это чужие.

— Тогда верни, — Мадлон уже уходила. — И передай хозяину, что у него ужасный вкус.

Глава седьмая. Очистка

Неделю в мастерской мне назначили ещё в день Рыбного спуска, и наутро после Гуэрна я её начала. Мать-настоятельница не меняет своих решений, даже если с тех пор успело случиться обручение у Маяка Аэлиз, письмо Хранителя Дамб и две ночи без сна. Сестра Бенуаза встретила меня у дверей верхнего яруса с фартуком в руках и выражением лица, говорившим, что лично она назначила бы месяц.

— Корыто у восточной стены, — она сунула мне фартук. — Сырец с прошлого шторма. Мыть, отбирать, на столы не носить, пока мастер Матильда не посмотрит.

— Да, сестра.

— И перчатки снимите. Белые в жиру не отстираются.

Я сняла перчатки, впервые за полгода при людях. Руки без них казались голыми и чужими, как ноги без башмаков. Бенуаза проследила, чтобы я убрала перчатки в карман, и ушла, а я осталась одна у корыта, полного морской воды и мокрого песка, в котором поблёскивали жёлтые камешки.

Мастерская под стеклянной крышей похожа на теплицу, в которой вместо цветов растут янтарь. Свет падает сверху, белый, ровный, без теней, и в нём видно каждую трещинку на каждой бусине. Вдоль длинной стены стоят полировочные столы, за ними сидят послушницы и трут войлоком янтарь, сотни горошин, одну за другой. У жаровен в дальнем конце работают сверлильщицы — у них лучковые свёрла и плюшки с водой, чтобы янтарь не перегрелся и не треснул. Пахнет бараньим жиром, смолой и горячим железом.

А на стене над столом мастера Матильды висят пилы.

Я не смотрела на них первую склянку. Я мыла сырец: опускала руки по локоть в ледяную воду, набирала горсть песка, промывала в решете, вылавливала янтарь и раскладывала по трём кучкам — для обетов, для скупщиков, на выброс. Для печатей годится только чистый, без сорин, без трещин, размером не меньше горошины. Таких было мало. К концу склянки у меня занемели пальцы, а кучка для обетов была с ноготь величиной.

Потом я подняла голову и посмотрела на стену.

Шесть лучков. Деревянные рамы, согнутые дугой, как маленькие луки, и между концами натянута тонкая проволока, тусклая, местами рыжая. Они висели в ряд на вбитых в стену колышках, а под ними, на полке, стояли глиняные горшки с мокрым песком — серым, мелким, как мука. Всё было именно так, как я рассказывала Корантену. Ничего особенного. Самые обычные инструменты, которыми режут крупный янтарь, если его надо разделить на части.

Я никогда не видела, чтобы ими пользовались ночью.

— Свидетельница Сальве сегодня наказана или задумалась?

Мастер Матильда подошла ко мне незаметно, как подходят все под этой крышей: здесь шумят только свёрла, а люди ступают тихо, чтобы не толкнуть стол. Она была старой, старше Органс, низенькой и широкой, с руками, похожими на корни, и никогда не носила перчаток. Свидетельницей она не была. В мастерской работают те, у кого дар так и не проявился, и Матильда пришла сюда послушницей пятьдесят лет назад и с тех пор не уходила.

— Наказана, мастер, — я снова опустила руки в воду.

— А смотрела на пилы.

— Я подумала, что никогда не видела, как ими режут.

Матильда хмыкнула и взяла из моей кучки бусину, которую я отобрала для обетов. Повертела, поднесла к свету и бросила в кучку для скупщиков.

— Трещина внутри. Смотреть надо не как свидетельница, а как мастерица. Вам видна нить, а нам — камень, — она вытерла пальцы о фартук. — Режут ими редко. Крупный янтарь в Кер-Ис-Мор приходит раз в год, а то и реже. Режем для Совета, для украшений Кермаре-

кам, иногда для гильдии, когда нужен большой кусок под печать для особого обета. Проволоку меняем каждую весну, она рыжеет от воды.

— А кто, кроме вас, умеет ими работать?

— Все, кто здесь больше трёх лет, — Матильда посмотрела на меня с любопытством. —

Ты что, в мастерицы решила податься? Поздно, у тебя нить. Нить на мастерицу не меняют.

— Нет, просто... — я не знала, как спросить. — Их когда-нибудь берут из мастерской?

— Это ещё зачем?

— Не знаю. Порезать что-нибудь.

Матильда помолчала. Потом повернулась к стене и посмотрела на пины словно увидела их впервые за много лет.

— Брали однажды, — она произнесла это медленно, словно доставала из памяти. — Года три назад, по осени. Один лучок пропал. Самый большой, крайний справа. Я неделю ругала послушниц, думала, какая-то утащила резать кость для гребней, они это любят. Потом он вернулся. Просто однажды утром висел на месте, — она пожала плечами. — Весь в иле. И песок в горшке под ним был другой, крупный, морской. Я тогда решила, что девочки бегали на отмели и нашли себе какое-то дело. Наказала всю смену, на всякий случай.

Я смотрела в корыто. Вода в нём была мутной от песка, и в ней ничего нельзя было разглядеть.

— В какую осень, мастер?

— Не помню, — Матильда уже отходила к своему столу. — Года три. Тогда, кажется, ещё Гуэрн прорвало, у нас вся мастерская ходила с красными глазами, у каждой второй кто-то на нижних копанках работал. Мой племянник утонул, — она произнесла это ровно, без паузы, как говорят о погоде. — Мой свой сырец, свидетельница, а не думай. Думать будешь, когда выйдешь отсюда.

* * *

Вечером я пошла в архив.

На этот раз днём, после всех заверений, до вечерней воды, в час, когда свидетельницы ещё ходят по полкам и никто ни о чём не спрашивает. Сестра-архивщица, Арзель, сидела у входа за своими счётами и, как обычно, не подняла головы.

— Мне нужна судебная печать девятого года, — я положила перед ней раскрытую книгу выдачи. — Для сверки.

— Какой сверки?

— Сверки описи.

Это была не вполне правда и не совсем ложь. Арзель заглянула в книгу, где я уже вписала номер ящика и гнезда, своё имя и слово «сверка», и обмакнула перо.

— Вернуть до утренней воды, — она поставила свою пометку. — Судебные печати на ночь из архива не выносят.

— Я верну.

— Это та, Ардуэнова? — Арзель впервые на меня посмотрела. Глаза у неё были светлые, водянистые, и в них не было ничего, кроме скуки. — Её же скоро на очистку.

Я застыла с пером в руке.

— На очистку?

— Три года с возвращения, — Арзель уже снова смотрела в свои счёты. — Печати осуждённых через три года очищают. Устав, шестой свиток. Чтобы на полках место было. Срок у неё вышел в прошлом месяце. Сестра Бенуаза отдала список матушке на подпись.

Я об этом не знала. То есть знала, конечно, — шестой свиток мы проходили, как все, на втором году. Печати осуждённых, тех, чей обет нарушен и залог взят, хранят три года на случай пересмотра, а потом очищают — опускают в кипящее масло, пока жилка не растворится, и

отдают камень в мастерскую. Янтарь остаётся. Исчезает только обет. Я никогда не думала, что это может касаться меня.

— Когда очистка?

— На новолуние, как всегда, — Арзель стукнула костяшкой счётов. — Через восемь дней.

Я взяла печать из ящика сама, войлоком, не касаясь пальцами, как положено, и унесла к себе в келью, завернув в платок.

Солнце садилось. В моём окне, выходящем на залив, свет становился медным, а потом красным, и я поставила на подоконник маленький деревянный пюпитр, который мы используем для проверки печатей, положила на него бусину и села напротив.

Печать Иво Ардуэна была обычной. Медового цвета, размером с горошину, круглая, хорошо отполированная — её выбирала для него сама мать-настоятельница, как выбрала для обручения две бусины. Я поднесла к ней свечу. Потом убрала свечу и посмотрела против заходящего солнца, как смотрят на всё важное.

Жилка внутри была. Тонкая, как волос в мёде, она начиналась у одного края бусины, у того, где её касалась ладонь Кермарека, и уходила вглубь. Светилась ровно, тускло, как светятся нити живых: Гильдас был жив. А на середине она обрывалась.

Дальше, к другому краю, к тому, где бусину держал Иво, тянулся второй отрезок — тёмный, почти чёрный, мёртвый. Так выглядят нити тех, кого больше нет. Между двумя отрезками зияла пустота шириной с ноготь младенца.

Это я видела три года назад. На суде, при матери-настоятельнице, при Совете, при всех. Концы тусклые. Разрыв полный.

Я смотрела на разрыв, пока у меня не заслезилась глаза.

Когда нить рвётся от нарушения, её края похожи на концы порванной верёвки. Лохматые, растрёпанные, с торчащими волоконцами. Нас учат этому на третьем году, на старых печатях из дальнего зала. Я видела сотни таких разрывов. Мне казалось, что я узнаю их с закрытыми глазами.

У жилки Гильдаса конец был лохматым. Как положено.

А у тёмного отрезка Иво...

Солнце коснулось воды. Свет стал гуще, краснее, и печать в нём загорелась, как уголёк. Мне почудилось — или я себя обманывала, — что у самого конца тёмного отрезка есть что-то ещё. Что-то тоньше волоса, бледнее тени. Как след от пальца на запотевшем стекле, когда сам палец уже убрали.

Я наклонилась ближе. И солнце ушло.

Свет погас разом, как всегда гаснет на заливе осенью: только что было красно, и вот уже серо. Печать на пюпитре стала просто бусиной. Я схватила свечу, поднесла — но при свечах нить видна хуже, это знают даже ученицы. Огонь даёт свой цвет, жёлтый, и всё желтое тонет в нём. Жилку я различала. А то, что почудилось мне на закате, — нет.

Я просидела над печатью до полуночи. Потом легла, положила её под подушку, завернутую в платок, и решила, что утром, на рассвете, когда свет будет ровный и белый, посмотрю ещё раз.

* * *

Утром меня вызвала мать-настоятельница.

Она сидела в рабочей комнате, впервые за неделю не в постели, у очага, укутанная в плед до подбородка. Лицо у неё стало ещё прозрачнее, а пальцы, которыми она держала чашку, не сгибались до конца, будто восковые. Рядом стояла сестра Бенуаза со списком в руках.

— Книга выдачи, — Органс не поздоровалась. — Вчера вечером ты взяла из архива судебную печать девятого года. Для сверки.

— Да, матушка.

— Какой сверки?

Я знала, что она спросит. Я думала над ответом, пока поднималась по лестнице, и не придумала ничего лучше правды. Не всей. Части.

— Я хотела посмотреть на неё ещё раз, — я стояла прямо. — Перед тем как её очистят.

Бенуаза за креслом пошевелилась. Ортанс поставила чашку на подлокотник, очень медленно, будто боялась пролить.

— Зачем тебе это?

— Я заверяю обручение его сына. Я хотела убедиться, что не ошиблась тогда.

— Ты сомневаешься?

— Нет, матушка, — это была ложь, и она прошла сквозь меня так легко, что я испугалась.

— Я хотела убедиться.

Ортанс смотрела на меня долго. Огонь в очаге потрескивал. Где-то во дворе послушницы тащили вёдра, и было слышно, как одна из них уронила своё и выругалась.

— Тебе было четырнадцать, — Ортанс заговорила тихо. — Я стояла рядом, когда ты смотрела. Я видела то же, что и ты. Совет слышал нас обеих. Иво Ардуэн сам не спорил, что нить порвана, — он отрицал только свою вину. Все, кто нарушает обеты, говорят одно и то же, — она протянула руку. — Отдай.

Я достала платок из кармана. Развернула. Бусина лежала на белом полотне, медовая, тёплая от моего тела.

— Матушка, очистка только через восемь дней...

— Печать отправится в мастерскую сегодня, — Ортанс не опустила руку. — Сестра Бенуаза отнесёт. Её место в архиве нужно для нового ящика, а сверять нечего. Ты видела на суде всё, что можно было увидеть.

— Но если...

— Если что, Анаик?

Я замолчала. Если там что-то есть. Если на закате мне не показалось. Если Иво Ардуэн не лгал. Я не могла сказать ничего из этого. Не ей, не при Бенуазе, не сейчас.

Я положила печать ей на ладонь.

Ортанс сомкнула пальцы, медленно, с усилием, будто каждый сустав приходилось уговаривать. Подержала. Потом передала бусину Бенуазе, не глядя.

— В мастерскую. К Матильде, в ящик на очистку. И отметь в книге, что выдача закрыта.

— Да, матушка.

Бенуаза ушла. Мы остались вдвоём.

— Ты устала, — мать-настоятельница снова взяла чашку. — Ты не спишь, я вижу. Ты ходишь на левый берег по вечерам — мне сказали и об этом. Ты взваливаешь на себя больше, чем можешь унести, как всегда, — она отпила и поморщилась, как будто питье было горьким. — Иво Ардуэн мёртв. Его не вернуть. Ни правдой, ни ложью, ни пересмотром. Если ты хочешь кого-то спасти, спасай живых. Это у тебя ещё может получиться.

— Кого, матушка?

— Себя, для начала, — Ортанс закрыла глаза. — Иди к корытам.

* * *

Мадлон дежурила в мастерской после полудня. Я дождалась, пока Матильда уйдёт к жаровням смотреть на новые свёрла, и пересела от своего корыта к её полировочному столу, будто за войлоком.

— Мне нужна твоя помощь.

— Я так и знала, — Мадлон не подняла головы от бусины. — Ты всю неделю смотришь словно у тебя под кроватью кто-то живёт. Кто?

— Никто. Послушай.

И я рассказала. Не всё. Не про немоту, не про верфи, не про холодную бусину в сундуке. Только про печать Иво. Про закат, про след у конца тёмного отрезка, который то ли был, то ли нет. Про очистку через восемь дней и про то, что печать уже лежит здесь, в мастерской, в ящике у Матильды.

Мадлон слушала, не переставая тереть бусину. Её руки двигались ровно, кругами, как всегда, но к концу моего рассказа войлок в её пальцах остановился.

— Ты хочешь сказать, — она говорила очень тихо. — Что ты, свидетельница первой ступени, полгода в перчатках, сомневаешься в своём собственном показании на суде, которое подтвердила мать-настоятельница. Из-за того, что тебе что-то показалось на закате.

— Да, именно так.

— И что ты хочешь, чтобы я достала из ящика на очистку печать осуждённого, которую туда положила сестра Бенуаза по приказу матушки.

— Да. Прошу тебя.

— Ты сошла с ума.

— Наверное, сошла.

Мадлон положила войлок на стол. Посмотрела на меня. Потом на ящик у стола Матильды — простой деревянный ящик с крышкой, на которой мелом было написано «новолуние».

— Очистка через восемь дней, — она заговорила тем же тоном, каким говорила о бусинах. — Варить будет Матильда, а ей нужны две помощницы — держать котёл и вылавливать. Я в этом месяце в мастерской. Если попрошусь, меня поставят. Котёл кипит, в нём пятьдесят бусин, никто не считает, какая где. Выловить одну и положить на её место другую, мёртвую, из дальнего зала, — это я могу.

— Мадлон...

— Я ещё не согласилась, — она снова взяла войлок. — Я просто говорю, что могу.

— Если тебя поймают...

— Если меня поймают, я скажу, что уронила бусину на пол и подменила, чтобы не попало. Матильда меня отругает и посадит к корытам до весны, — Мадлон дёрнула плечом. — Я уже сижу у корыт до весны в половине своих снов. Привыкла.

Я смотрела на неё и не знала, что сказать. Мадлон Ферре, которая не любила ни тайн, ни ночных вылазок, ни неприятностей, которая сбегала с урока устава, чтобы поспать в кладовке, предлагала мне украсть у матери-настоятельницы судебную печать.

— Почему ты соглашаешься? — у меня перехватило горло.

— Потому что ты у меня одна, — Мадлон не стала смотреть мне в глаза. — И потому что ты три года не можешь спокойно спать в ночь, когда штормит. Я сплю за стенкой, я слышу. Ты не знала? — она снова принялась тереть бусину. — Если там ничего нет, ты успокоишься. А если есть... Тогда ты мне расскажешь всё остальное, о чём сейчас молчишь.

— О чём я молчу?

— Не знаю. Но у тебя на запястье, под рукавом, мужской мерный шнур, а от сапог, которые ты вчера оставила у двери, пахнет ардуэнской смолой, — Мадлон наконец подняла голову. — Я не дура, Анаик. Я просто вежливая.

* * *

У ворот Янтарного двора меня ждали в сумерках.

Девушка стояла, прислонившись к столбу, и грызла яблоко. Загорелая до черноты, в мужской куртке и подоткнутой юбке, с волосами, кое-как собранными в хвост. На земле у её ног лежал свёрток.

— Свидетельница, — Гвенола Ардуэн бросила огрызок через плечо, в кусты. — Брат говорит, вы ему кое-что должны.

— Я должна?

— Башмаки, — она пнула свёрток носком. — А вот ваш сапог. То есть мой. Брат нырял за ним утром, в прилив. Два раза. Сказал, что если я узнаю, что сапог пропал, то утоплю его быстрее Кермарека.

Я подняла свёрток. Внутри действительно лежал сапог, мокрый, вычищенный от ила, с запиской, засунутой за голенище.

— Ваши башмаки у меня в келье, — я не знала, что ещё сказать. — Сейчас принесу.

— Не надо. Оставьте себе. Он всё равно в них никуда не ходит, только в сарае, — Гвенола оглядела меня сверху вниз, долгим, оценивающим взглядом, совсем как Леонор, только без её холодности. Скорее с любопытством, как разглядывают незнакомую лодку. — Вы маленькая.

— Простите, что?

— Я думала, вы больше. Брат так говорит о вас, будто вы с маяк ростом, — она отлепилась от столба. — Ладно. Записку прочтите, когда меня не будет. И не ходите больше на Гуэрн в прилив, а то у нас сапог на всех не хватит.

Она ушла вниз по Отмельной лестнице, широким мальчишеским шагом, и ни разу не обернулась.

Записка была короткая, нацарапанная углём на клочке парусины: «Вдова Кервен откроет послезавтра. Рыбный рынок, лавка с синей дверью, за полдень. Приходи как свидетельница». И ниже, мельче, другим нажимом, будто дописано позже: «Гвеноле можно верить. Мне — как решишь».

Я сложила записку и сунула в перчатку, к имени вдовы, которое лежало там со вчерашнего дня. Потом поднялась к себе и до полуночи сидела у окна, глядя на залив, где на воде под маяком в темноте не было видно Камня Возврата.

Восемь дней до очистки. Тридцать четыре — до Прилива.

Глава восьмая. Шторм

Утром небо над морем было жёлтым, как старая печать, и к полудню жёлтое сменилось свинцовым. Мастер Матильда посмотрела вверх, на стеклянную крышу, и велела послушницам принести ставни.

— К ночи будет буря, — она объявила это тем тоном, каким сообщают, что завтра отлив. — Свидетельница Сальве, вы свободны до завтра. Ваше корыто никуда не денется.

Я могла остаться. Мне следовало так и сделать. Но в кармане у меня лежала вторая записка, которую на рассвете принёс мальчишка-посыльный с паромной пристани, и в ней было всего несколько слов углём: «Отцовские бумаги. Сегодня, пока светло. Г. встретит у парома».

Я решила, что успею до бури. Паром ходит, пока ветер не сильнее четырёх баллов, а сейчас он едва дотягивал до трёх. Я переоделась в старое платье, надела плащ без знака и ушла через нижние ворота, не попавшись на глаза ни Бенуазе, ни Мадлон.

Гвенола ждала у пристани на левом берегу, сидя на перевёрнутой корзине и кидая камешки в воду.

— Вы всё-таки пришли, — она встала. — Брат спорил со мной на зерно, что не придёте из-за погоды.

— А вы на что спорили?

— Что придёте. Я выиграла, — Гвенола пошла вдоль берега, не оглядываясь, иду ли я. — Дом недалеко. Только не пугайтесь, когда увидите. Брат говорит, что вы бывали у Кермарексов. После их дома у нас как в сарае.

* * *

Особняк Ардуэнов стоит у самой воды, на каменном фундаменте, который во время больших приливов заливают до первого этажа. Когда-то это был красивый дом: три этажа, высокие окна, крыша из сланцевой плитки, флюгер в виде корабля. Теперь половина окон была заколочена досками, черепица на одном скате съехала, а железный кораблик застыл, глядя на север, и не поворачивался.

Внутри было чисто и холодно. Большие залы стояли пустыми, с белыми пятнами на стенах там, где когда-то висели картины или карты. Мебель, какая осталась, была собрана в три-четыре комнаты нижнего этажа, и в одной из них, на кухне, горел очаг.

— Продали, — Гвенола заметила, куда я смотрю. — После суда. Отец погиб, а штраф Совета остался. Сорок душ — это дорого. Брат сбыл с рук всё, что можно было продать, кроме верфей. Верфи без него Кермарек забрал бы за полгода.

На кухне сидел однорукий старик, которого я видела у Маяка, и чистил рыбу. Он поднял голову, посмотрел на меня из-под седых бровей и ничего не сказал.

— Это Ронан, — Гвенола бросила куртку на лавку. — Он был боцманом у деда. Руку потерял, когда ставили дамбу на мысе, лет тридцать назад. Он с нами живёт. Он не разговаривает с чужими, это не со зла.

— Разговариваю, — старик снова опустил глаза к рыбе. — Когда есть о чём.

Корантен вышел из соседней комнаты, вытирая руки тряпкой. На рукавах у него были пятна чернил.

— Ты успела, — он посмотрел в окно, где небо над заливом уже становилось почти чёрным. — Но обратно, боюсь, не успеешь.

— Паром же...

— Паром перестанет ходить через склянку, — он кивнул Гвеноле. — Сбегай к паромщику, скажи, чтобы не ждал. Свидетельница переночует у нас.

— Я не могу ночевать у вас!

Все трое посмотрели на меня. Ронан — с лёгким любопытством, Гвенола — с весельем, Корантен — с таким терпением, будто я была маленькой и спрашивала, почему вода мокрая.

— Можешь вернуться пешком через Гуэрн, — предложил он. — Это четыре лиги вокруг залива, по дамбам. В бурю. Ночью. Я тебя провожу, если хочешь.

Я села на лавку у очага. Гвенола засмеялась и ушла за дверь, в ветер.

* * *

Бумаги Иво Ардуэна лежали в комнате, которую Корантен назвал конторой, хотя от прежней обстановки там остались только стол, стул и сундук. Всё остальное он продал вместе с картинами.

— Это сохранил, — он открыл сундук. — Кермарек требовал отцовские записи на суде, но я сказал, что они утонули вместе с ним. Мне поверили. Мне всегда верят, когда я говорю что-нибудь плохое.

В сундуке лежали свёртки — десятки, перевязанные бечёвкой, исписанные мелким наклонным почерком. Чертежи дамб, расчёты, списки свай с размерами и датами. Карты. Корантен вынул самую большую и развернул на столе, прижав углы чернильницей и двумя камнями.

Это был Кер-Ис-Мор. Но не тот, который я знала. Улицы, дома, лестницы были намечены на нём тонкими бледными линиями, едва заметно. А поверх них, жирно, чёрной тушью, шли другие линии — извилистые, ветвящиеся, переплетающиеся, как корни дерева.

— Водостоки, — Корантен провёл по ним пальцем. — Старые. Город стоит на них, как на сваях. Большую часть заложили в первое столетие после Разрыва, когда строили дамбы. Отец спускался туда последний год почти каждую ночь. Вот здесь он был. И здесь. И здесь.

Его палец останавливался на крестиках, которые были разбросаны по карте. Возле каждого стояла дата и короткая пометка.

Я наклонилась ближе. «Свод осел, вода по колено». «Кладка не наша, старше». «Сухо. Странно». А у самого края, там, где город упирается в Гуэрнский мыс, у начала дамбы, стояла пометка, обведённая дважды: «Аэлиз клала в основание не камень».

— Что это значит?

— Не знаю, — Корантен смотрел на надпись, и лицо его было спокойным, но пальцы, лежавшие на краю карты, сжались. — Он написал это за десять дней до прорыва. Последняя пометка. Больше он туда не ходил. Или ходил, но не записывал.

— А что тогда она клала?

— Хотел бы я знать, — он отпустил карту, и её край тут же свернулся. — Я спускался туда сам, по его следам. Дважды. Там, где он поставил этот крестик, — завал. Свод рухнул, наверное, в ту же ночь, когда прорвало дамбу. Без помощников не разобрать, а их у меня нет.

Я смотрела на надпись. Буквы были твёрдыми, ровными, без дрожи, — так выводит буквы человек, уверенный в каждом слове.

— Твой отец верил в легенду о Мор-Исе?

— Мой отец верил в сваи, — Корантен пожал плечами. — В глину, в камень, в приливы. Если он написал что-то про Аэлиз, значит, нашёл что-то, что можно потрогать.

За окном ударил первый порыв ветра, сильный, тяжёлый. Ставни затрещали. Где-то наверху хлопнула незакреплённая дверь, а потом в стекло, которое осталось целым только в этой комнате, хлестнул дождь, сразу, стеной, будто кто-то выплеснул ведро.

— Началось, — Корантен свернул карту. — Пойдём на кухню. Тут к утру будет как в погреб.

* * *

Ужинали рыбой, которую чистил Ронан, и гречневыми лепёшками.

— Хозяин сорок лет клялся, — Ронан заговорил так неожиданно, что я вздрогнула. Он смотрел не на меня, а в свою миску. — Наймы, поставки, починки. Каждый год по десятку

обетов. Я при нём был с мальчишек. Ни одного пятнышка на ногтях. Ни одного за сорок лет. А тут, на последнем, вдруг — разрыв.

— Ронан, — Корантен не поднял головы.

— Я только говорю, — старик подцепил кусок рыбы. — Свидетельница спрашивала, кто тут с ней будет разговаривать. Я говорю. Гвенола вернулась промокшая насквозь, с известием, что старик уже привязал свою посудину и ушёл домой, и что на причале снесло две лодки. Она переделалась и села напротив меня, грея руки о кружку с горячим сидром.

Ронан ел молча. Корантен — тоже. Буря выла над крышей, в трубе гудело, и от этого гула огонь в очаге то пригибался, то вспыхивал выше. Мне было странно сидеть здесь, за этим столом, с этими людьми, которые должны были меня ненавидеть. Ронан ни разу не посмотрел на меня прямо. Гвенола, наоборот, смотрела всё время.

После ужина Корантен ушёл наверх — сказал, что надо проверить крышу, пока её не снесло совсем. Ронан ушёл следом, держа в единственной руке фонарь. Мы с Гвенолой остались у очага вдвоём.

Она долго молчала, вертя в пальцах пустую кружку. Потом поставила её на стол и сказала, не поднимая глаз:

— Можно я вам кое-что расскажу? Как свидетельнице.

— Если хотите.

— Я не хочу. Но надо, — Гвенола подняла голову. В свете очага её лицо стало вдруг совсем детским, и я вспомнила, что ей всего шестнадцать. — Прошлой зимой я дала обет. Не у вас, не в гильдии. У одной женщины на островах, она раньше была свидетельницей, потом ушла. Как старая Эльвина. Она заверяет для контрабандистов.

Я молчала.

— Я обещала одному человеку... — Гвенола сглотнула. — Неважно кому. Обещала молчать о том, что видела. Залогом — три пальца. А потом рассказала брату. И с тех пор у меня вот.

Она протянула мне левую руку, ладонью вниз. На ногтях безымянного пальца, мизинца и среднего проступали жёлтые пятна — неровные, как капли смолы на коре.

Я смотрела на её ногти и чувствовала, как у меня холодеет спина.

Устав говорит об этом ясно, четвёртый свиток, вторая строка. Свидетельница, которая узнала о нарушенном обете, обязана сообщить о нём матери-настоятельнице, даже если обет заверен не нами. Особенно если не нами. Заверения на стороне запрещены, и люди, которые их дают, и люди, которые у них клянутся, подлежат суду Совета.

— Вы скажете своей матушке? — Гвенола не убирала руки.

— Почему вы мне это рассказываете?

— Потому что вы видите, — она смотрела мне в глаза. — Я хочу знать, что со мной будет. Застыну я или нет. Сколько у меня времени. Вы же можете посмотреть, правда? Свидетельницы могут.

Я взяла её руку. Пальцы были холодные и шершавые от верёвок. Я поднесла их к огню, к самому свету, и посмотрела — по-настоящему, тем зрением, которому меня учили девять лет.

Ничего.

Ни нити, ни следа нити, ни оборванного конца. Её запястье было пустым, как у любого человека, у которого нет обетов. А жёлтые пятна на ногтях, если смотреть в упор, лежали сверху, на ногте, а не внутри него. Чуть смазанные по краям. Как краска.

Я подняла глаза. Гвенола смотрела на меня, не мигая.

Я могла сказать, что вижу. Что это охра или сок крушины, которым красят паруса на островах. Что она лжёт, и я это знаю. И тогда она бы поняла, что я — свидетельница до кончиков пальцев, что я проверяю всё и всех и выведу на чистую воду любого, кто попытается меня обмануть.

Или я могла промолчать.

— Нити я не вижу, — я говорила медленно, не отпуская её руки. — Значит, обет уже погас. Или его не было.

— Как это — не было?

— Не знаю. Может быть, та женщина на островах ничего не умела. Может быть, бусина была не заговорена. Так бывает, — я положила её руку на стол, ладонью вниз, и накрыла своей. — Пятна сойдут через неделю, если не будете их трогать. И больше не рассказывайте, что клялись на островах. Ни одной живой душе, Гвенола. Даже мне.

— А вы? — её голос был очень тихим. — Вы расскажете?

— Нет, не расскажу.

— Это против вашего устава.

— Против, я знаю.

Гвенола долго смотрела на меня. Потом медленно вытащила руку из-под моей и спрятала её под стол.

— Тогда почему?

— Потому что вам шестнадцать лет, и вы рассказали брату правду, — я встала. — Помоему, за это не отрезают пальцы. Где мне можно лечь?

Перед тем как лечь, я вышла в коридор умыться, и на лестнице столкнулась с Коранте-ном. Он спускался с чердака, мокрый, с молотком за поясом, и в руках у него была свёрнутая шерстяная шаль, тёмно-синяя, с вытертой бахромой.

— Возьми, — он протянул её мне. — У Гвенолы в комнате дует от окна.

— Чья это?

— Матери, — он помедлил, будто решал, сказать ли больше. — Она умерла, когда родилась Гвенола. Отец не дал продать. Я тоже не дам.

Я взяла шаль. Она пахла лавандой — так слабо, что, может быть, мне показалось.

— Она была свидетельницей? — я сама не знаю, почему спросила.

— Нет. Дочерью конопатчика с этого берега. Отец женился на ней против воли деда, — Корантен посмотрел на шаль у меня в руках. — Говорят, она клялась только раз в жизни, на свадьбе. И больше никогда не брала в руки янтарь. Говорила, что для одного обещания одного раза хватает.

Он ушёл вниз, не дожидаясь ответа. А я стояла на лестнице с шалью его матери и думала, что впервые за девять лет слышу, как кто-то говорит о клятве без страха.

* * *

Мне постелили в комнате Гвенолы, на сундуке у окна. Сама она устроилась на кровати и долго ворочалась, слушая бурю. Я лежала с открытыми глазами и смотрела на ставни, сквозь щели которых пробивались вспышки молний.

— Свидетельница, — Гвенола заговорила в темноте, когда я уже думала, что она спит. — Это была краска.

— Я знаю.

Тишина. Ветер ударил в стену так, что задрожали стёкла.

— Тогда почему вы не сказали?

— А зачем вы это сделали?

Она снова замолчала. Потом зашуршала одеялом, переворачиваясь ко мне.

— Хотела узнать, побежите ли вы к своей матушке. С таким, что можно проверить. Если бы помчались туда — значит, рано или поздно побежите и с братом, — Гвенола помолчала. — Он не знает. Я сама придумала. Он бы меня убил.

— А если бы я побежала?

— Тогда я бы сегодня ночью разбудила его и сказала, что пора уходить за створ. Лодка готова. Мы бы ушли в бурю, нас бы никто не догнал, — она говорила просто, как о деле давно решённом. — Я бы его увезла, даже если бы он не хотел. Он упрямый, но я сильнее, чем кажусь.

Я смотрела в потолок. Где-то над ним, на чердаке, ходил Корантен — я слышала его шаги, тяжёлые, осторожные, и стук молотка, когда он прибывал что-то, что ветер пытался оторвать.

— Ты всегда так проверяешь людей? — спросила я.

— Только тех, кому брат доверяет, — Гвенола зевнула. — Таких немного. Вы вторая за три года. Первым был отец, но это не считается.

— А кто ещё?

— Никто. Я же сказала: вы вторая, — она снова завожилась, натягивая одеяло на голову. — Спокойной ночи, свидетельница. Краску я смою утром. Это сок крушины, он едкий, но отходит.

* * *

Корантен

Крыша выдержала. Он сам удивился: половина скатной черепицы держалась на честном слове, а гвоздей в доме не осталось с тех пор, как он продал кузнецу последний ящик. Но они с Ронаном привязали стропила к балкам верёвками, натянули сверху старый парус и прижали его камнями, и холстина выстояла.

Ронан ушёл спать, а Корантен остался на чердаке. Он сидел на перевёрнутом ведре у слухового окна и смотрел на залив, где молнии били в воду так часто, что вода казалась белой.

В щели между досками пола внизу пробивался свет. Комната Гвенолы. Там свеча, и там она.

Он не слышал, о чём они говорили у очага. Ронан всё слышал: старик сидел на лестнице, когда Корантен поднимался с инструментами, и глядел на него так же, как в тот день, когда десятилетний мальчишка разбил отцовскую подзорную трубу. Но ничего не сказал. Старик никогда не говорил, если его не спрашивали.

Корантен не спросил. Он знал свою сестру.

Свидетельница сидела за их столом, ела их рыбу и ни разу не поморщилась. Её взгляд прошёл по пустым стенам, по заколоченным окнам, по культе Ронана — и она не отводила глаз, не жалела вслух, не делала вид, что не видит. Она смотрела так же, как тогда, на сваю, — внимательно, честно, будто запоминала. Как будто бедность — это тоже то, что надо заверить.

Три года он думал о ней каждый день. Он признался ей в этом на стапеле и не солгал: он перебрал сотню слов, которые бросит ей в лицо, если встретит. Девчонка на табурете, которая трижды произнесла «разрыв полный», а потом стояла у Камня, вся белая, в рубаше ученицы, и смотрела, как вода поднимается к коленям его отца. Он ненавидел её так долго и так старательно, что это чувство стало чем-то вроде мерного шнура на запястье: привычное, всегда при себе.

А потом она сказала на круге Аэлиз «нить мутна». И теперь он не знал, куда девать сотню слов.

Свет внизу погас. Буря выла по-прежнему, но где-то далеко, на западе, в тучах уже показался просвет.

Корантен отвернулся от окна и долго сидел в темноте, глядя на свои руки. Ни один янтарь в мире не мог их связать. Он всегда считал это проклятием. Сегодня впервые подумал, что, может быть, это ещё и выбор: раз его ничто не связывает, всё, что он держит, он держит потому, что хочет.

Это была опасная мысль. Он не стал её додумывать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.